
Владимир КАНТОР

НЕЖИТЬ,
ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ
НА КРАЮ
ПОДЗЕМНОГО МИРА
Странная повесть,
фантазия в духе Босха

МГНОВЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Междупланетные пространства,
И сонм неисчислимых лет,
И нашей жизни миг короткий —
Мы не живем, нас в мире нет!

Напрасны слезы и тревога,
И ужас бледного лица, —
Мы только сон минутный Бога,
А снам Господним нет конца!

Даниил Ратгауз

Россия рухнула в пропасть небытия.

Федор Степун

Бонмо Александра Филиппова
«выйти в нелюди»

ПОД КРЫШКОЙ ГРОБА

Гроб, в котором я лежал, закрыли крышкой с кистями, потом заколотили гвоздями. Надо мной образовалась преграда, которая будет теперь всегда, пока я не сгнию и не стану пищей червей. А стану ли? Зрение и слух погасли, это я каким-то нутром ощущал. Ни видеть, ни слышать я сейчас не мог, потому что лежал на спине совершенно мертвый. Но как-то странно — я все равно все чувствовал и видел, но каким-то другим зрением, видел, как под гроб просунули верев-

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета НИУ-ВШЭ. По версии журнала *LeNouvelObservateur* (2005) — один из 25-ти крупнейших мыслителей современности.

ки и опустили его в яму. И голоса слышал, но будто не ушами, а другим каким-то слухом. «Как я попал сюда? Что со мной? Раз я все понимаю, но понимаю, что я мертв, то, значит, *есть какая-то жизнь вне жизни?* Что за глупости говорят про меня? Ах да!.. Какой-де замечательный ученый и писатель... Столько операций, почти смертельных, перенес, выжил, а умер, мол, случайно, по неловкости... Да, операций было немало. Перед одной из них медсестра сказала мне: *Мы вас подадим на стол в понедельник.* Будто я был гусем к рождественскому столу, а Рождество тогда и впрямь надвигалось. Но это их профессиональный сленг. О строчках *где стол был яств, там гроб стоит* они, конечно, не думали, да и не знали, скорее всего. Так что все же за форма существования во мне? Я так много последнее время рассуждал о нежити, что, скорее всего, сам стал нежитью. Хорошо хоть, что не вурдалаком.

А ведь Главный Мертвец, что лежит в центре Москвы, говорят — настоящий вампир. Хотя каково ему десятки лет там лежать на всеобщее обозрение: поневоле одичаешь. Года четыре назад я ехал в Вильнюс, еще Союз не распался, со мной в купе были два литовских медика, один патологоанатом, другой психолог. Мы разговорились. Они сказали, что их вызвали в Москву посмотреть, что происходит с телом Ленина. *Ну и что?* — спросил я. Да непонятно, ответили хором они, ногти растут и волосы, а при этом сердце не бьется, легкие не работают, соответственно, и желудок давно. *Все-таки человека, если он человек,* — сказал патологоанатом, — *надо в земле хоронить.* Психолог возразил, что в народных мифах полно историй об оживших мертвецах. И мы замолчали. А я вспомнил историю, рассказанную подружкой моей первой жены, как первоклашек повезли в Мавзолей «посмотреть дедушку Ленина». Детей предупреждали, чтобы они не шумели, дедушка Ленин этого не любит. Он хоть и мертвенький, но строгий и может серьезно наказать шалунов. Вот дети столпились около стеклянного гроба, и вдруг в сплошной тишине раздался пронзительный детский голос: «Мама, а он кусается?!» Охранники оторопели, но что сделаешь с малышом?! Кстати, тема идет из древности. Вот пример, который подсказала мне моя образованность: Упырь Лихой — первый известный древнерусский писец, священник XI века, живший в Новгороде. Ленин тоже писал о себе в анкетах на вопрос о профессии: «литератор», то есть писец.

Лежа в гробу, многое вспомнил, вспомнил, почему никуда не уехал и ушел от всякой политики, все было противно, перед глазами стояла сценка, показанная по телевизору, как американский президент Билл Клинтон хлопает по заднице русского президента Бориса Ельцина, а тот хихикает в ответ. Россия была опущена, но столь же противен был и опустивший Ельцина. Словно сцена в лагерном бараке, где блатные глумятся над слабым. Но когда мне в Германии (ездил на месяц по гранту для работы в архивах) предложили на радио «Немецкая волна» — после моего выступления — попросить политического убежища, что они помогут, я вдруг на секунду заколебался. В России магазины были пусты, а семью надо кормить. Однако мне повезло. В комнату, где я беседовал с редактором программы, вошел православный богослов, которого я знал по Москве, он писал о Владимире Соловьеве и в Москве выглядел солидно. А тут он искательно улыбался, заглядывал редактору в глаза и почему-то шептал. И мне шепнул, что предпочел свободу. И невольно своей опущенностью напомнил мне Ельцина, которого Клинтон хлопал по заднице. Нет уж, надо жить там, где родился. Где родился, там и пригодился. Бежать из-за сладкого куска, теряя себя, я не хотел. В России тоже не очень, но все же некая свобода появилась. Можно было писать и печатать, что хочу. А в общественную бурду не лезть. Лучше писать и уйти по возможности в частную жизнь. Приходилось жить в предложенных обстоятельствах. Я не хотел быть ни среди

тех, кого хлопают по заднице, почти насилуя, ни среди тех, кто хлопает. Мы попали после Ленина в выморочный мир, когда вначале страну боялись, как скопище монстров, а потом, когда хватка вождей ослабела, перестали даже уважать.

Знаменитый Володя Тольц, сотрудник «Немецкой волны», который брал у меня интервью, все же некоторый интерес я представлял, никак не мог настроить меня на «острые проблемы». Почему представлял интерес? Приехавший из Москвы интеллектуал, мыслящий свободно, но не радикал и не консерватор, очень просто. Тольц все же нашел компромисс, записал мои слова, но сказал, что отложит запись в архив. Если ничего более информативного не будет, то он даст нашу беседу. Потом он повел меня во внутреннее кафе, заказал кофе и спросил: «Вы никогда не думали, что проект „Россия“ завершен, что там остается одна нежить, то есть те, кто не способен к самостоятельной жизни». Я пробормотал в ответ строчки Ахматовой: «Мне голос был, он звал утешно...» Тольц ухмыльнулся: «Ну вы себя не равняйте, да и людей приличных не осталось».

Я вспомнил (сама мысль бежала), как мы с другом детства Сашкой Косицыным — по его приглашению — ездили по Ветлуге и обмеряли разваленные во время советской власти храмы. Советская власть продолжалась, но уже церквями (храмами) было разрешено заниматься. А когда вертикаль духа разрушена, когда с неба ушел сторож, наблюдавший за Россией, то рухнули все скрепы. Вот эпизод из нашего путешествия по Поветлужью. В разрушенной церкви, где был снесен купол, работала столярная мастерская. Около верстака на досках сидели здоровые мужики и пили пиво. Казалось, что к доскам прилипли. Увидев нас, слегка зашевелились.

«Вы, ребята, откуда сами?»

«Из Москвы».

«Из самой Москвы? А чего здесь делаете?»

«Церкви ваши обмеряем. Народное достояние. Может, восстановят когда-нибудь». Старшой, самый крупный, развел руками:

«Так что, важное здание? Храм? А мы девок в храм таскаем, трахаем их. Это, значит, неправильно? А Бог разве есть?»

Очень хотелось повернуться, пошевелиться, приподняться... А может, я жив? — вдруг мелькнула мысль. Но реальность говорила, что я отгулял свое. А над могилой продолжались речи, говорили жене, утешая по-русски, что она, мол, потеряла самое дорогое, что у нее было. Кларина не отвечала. Она тихо, почти без сил сидела у могилы на корточках, вторая моя жена, мое второе я, и, как говорили в старину, *лила безутешные слезы*. Дочка держала ее рукой за плечо, мордочка была искривлена, она кусала губы, но не плакала. Что за кладбище? — думал я. Вдруг оно то, где лежали дед и бабушка, в том самом Тимирязевском парке, где я провел детство. Голова моя всегда была набита стихотворными отрывками. И после смерти они оставались в голове. Как — не понимаю, но оставались. И вот Пушкин зазвучал во всем моем умершем организме: *И хоть бесчувственному телу / Равно повсюду истлевать, / Но ближе к милому пределу*. / Мне **все** б хотелось поживать.

Так где же я? Может, это и вправду Тимирязевский парк? Профессорское кладбище? В этом парке я провел ранние годы своей жизни, прогуливая школу, уходил в парк. Прогуливал, хоть и из профессорской семьи. Туда, в профессорскую квартиру, привел свою первую жену. Телок я был. Теперь вспоминая начало нашего романа, понимаю, что она имела и до меня бойфрендов, но была умна и сумела убедить меня, что я у нее первый. Когда я вызвал «скорую», чтобы остановить кровотечение у юной девушки, смущенно и тупо объясняя, что это следствие первой брачной ночи, фельдшерница сказала, что такое обильное кровотечение бывает только при выкидыше. Я гневно объяснил, что такого быть не может, что у нас это

первая близость. Она передернула плечами, попросила меня выйти из комнаты, что-то сделала там, а когда вышла, то строго-настрого просила меня в течение двух дней не прикасаться к «молодой женщине». Уже спустя годы, после начала моей любви к Кларине, любви совершенно сумасшедшей, я не мог решиться оставить первую жену, пока мой приятель, чья сестра дружила с *моей первой*, не сообщил мне, что его сестра удивлялась, как я не замечаю измен своей жены, и назвал некоторых персонажей, с которыми у нее были *отношения*. Несколько дней я ходил на ватных ногах. А потом, оставив первой жене квартиру, ушел, снял нам с Кларининой комнату и начал искать постоянное жилье. Теперь-то оно постоянное. Интересно, какая сейчас погода?

Вот тогда и стал бормотать частенько строчки Пушкина:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

Но не угадал. Когда я упал и разбил голову о трамвайный рельс, стоял теплый вечер, шел легкий июньский дождь, было полно луж, из канавы доносилось кваканье жаб и кваканье лягушек. Они прыгали и между луж, гладкие зеленые лягушки и серые пупырчатые жабы. Ползали длинные дождевые черви. Словно приоткрылось подземное хранилище, откуда все это и полезло. Совокуплялись совершенно откровенно какие-то желтоватые лягушки.

А некий жабоаист в сторонке, под деревом, за трамвайными путями заглатывал этих лягушек одну за другой.

Пузыри земли. Как у Шекспира в «Макбете»: *Земля пускает также пузыри / Как и вода. / Явились на поверхность / И растеклись*. Одна из этих жаб и подвернулась мне под ноги. Я споткнулся и упал. А теперь я в гробу, и непонятно, что из себя представляю, еще живой человек, случайно попавший в деревянный ящик, или уже нежить. Да, если Бога упразднили, то вылезает нежить. Владимир Даль писал, что слово «нежить» происходит из северных территорий нашей страны и означает «все, что не живет человеком, что живет без души и плоти, но в виде человека: домовый, полевой, водяной, леший, русалка, кикимора». Если верить Далю, то в изначальном, старорусском понимании «нежить» была особым видом духов. Это не пришельцы из другого мира, не мертвецы и не привидения. Согласно старинным поверьям, нежить не живет и не умирает. Из провинциальных воспоминаний не отпускало меня очень долго одно. Оно и сейчас вернулось. Это был рассказ старушки из деревни Афонасьево (что под Александровом, бывшей Александровской слободой, где Иван Грозный придумал свою опричнину), дочери попа. Наш дачный домик (крошечный, вроде домика дядюшки Тыквы) был неподалеку, и мы часто ходили в эту деревню, где стояла разрушенная церковь, а на месте купола как-то криво росла березка, такой очевидный символ победившего язычества. Так вот старушка рассказывала: «Собрались комсомольцы вокруг храма, старший их влез на крест с балалайкой, а оттуда орал похабные частушки, потом били трактором в основу храма, разрушить не смогли, тогда вожак ихний спустился вниз, взял трос, привязал к кресту, а другой конец к трактору и поехал, потянул трос, крест и купол и обрушились». Старушка помолчала и ухмыльнулась торжественно: «Потом их всех на войне на ... поубивали». Она назвала их фамилии, а я вспомнил, что эти имена стояли на стеле «Героям, пав-

шим на Великой Отечественной войне». Потом я проверил фамилии, точно, они. Это было так жутко, вроде продолжали на памятнике жить как герои, а при этом старики их видели как злодеев, «убийцев Бога». Вот еще вариант нежити. Когда Бог исчезает из мироздания, его место занимают бесы и нежить.

Доносились голоса, надо бы прислушаться, чтобы понять, кто я теперь и где я. Говорил женский голос с придыханием, я узнал свою детскую приятельницу Таньку из маленького деревянного домика, соседствовавшего с их пятиэтажным профессорским домом. Я был года на три старше ее и в пятнадцать лет был вроде даже влюблен в нее, но даже поцеловать не решался, а она, рано созревшая девочка, хотела близости; в кустах она тискалась с одноклассниками, но в итоге сошлась с Адиком, парнем из соседнего подъезда, внуком академика, старше ее лет на пять, которого ее молодость не остановила. Думаю теперь, что, наоборот, возбуждала. Она говорила знакомой:

«Надо пройти мимо могилы Адика, его ведь тоже несколько месяцев назад тут похоронили, свернуть направо и по прямой дойти до Пасечной, где кони металлические, а там и трамвай».

Да, про смерть Адика я знал, Танька его за дело притопила, отомстила за все свои унижения. Впрочем, и я тогда, после его гибели, до нее дорвался. Может, мое падение и удар головой о рельс были наказанием за мое поведение, за то, что я вытворял с ней. Но вообще-то, узнав об изменах первой жены, веру в женскую неприкасаемость я потерял, выделяя из общего ряда только Кларину, мою ясную. Но нет, с Танькой все же это было случаем, восполнением не случившегося в юности. Но главное, чем я жил последний год, — это попытка устроить жильё жене и дочке. И я добился этого! Забросив все свои писательские и научные дела, только квартирой для нас и занимался. Как это удалось? Сам не понимаю, но удалось!

Кларина не пошла со всеми, сидела на поваленном дереве и продолжала плакать. Сашка уже томилась от долгого плача да еще и не очень понимала, что произошло. Но потом, глядя на безутешную мать, снова начинала всхлипывать.

Мысль побежала по оставшимся, еще не отмершим извилинам, выстраивая мою жизнь за последние полтора года. Но началось движение мысли все же с того эпизода из сравнительно ранней молодости (мне лет двадцать пять или тридцать), когда с отцом мы пришли на это профессорское кладбище. Потом пробел, поскольку это было очень-очень давно, далее я женился, родился сын, развелся, родилась дочка, семейную квартиру я оставил сыну и первой жене, жить в новом союзе было негде. А как достать квартиру, когда и денег нет, одна зарплата?.. Однако по порядку.

А есть ли вообще в жизни хоть какой-то порядок!

НА КРАЮ НЕБЫТИЯ

В соседнем подъезде нашего пятиэтажного профессорского дома жил Андрей, по прозвищу Адик, внучатый племянник академика Жезлова, дальнего родственника знаменитого революционного матроса, разогнавшего в январе 1918 года Учредительное собрание по приказу Ленина. В наших учебниках об этом разгоне рассказывалось очень романтично. В какой-то момент Железняк подошел к председателю собрания и спокойно сказал: «Пора расходиться, господа. Караул устал». И все, мол, трусливо разошлись. Но на самом деле существовала еще одна легенда: члены русского Учредительного собрания помнили, как долго держалось французское Учредительное собрание, и, конечно, хотели быть не хуже. Но Железняк

знал, о чем говорил. И добавил: «Караул уже сутки не был в отхожем месте. Возможности человеческого организма ограничены. Поэтому я разрешаю моим матросам опорожниться на том месте, где они находятся». Надо добавить, что депутаты сидели в зале, а моряки стояли наверху, на хорах. И вот с удовольствием расстегнув находившийся впереди клапан на своих тяжелых морских брюках-клеш, достали внушительные члены, набухшие от долгого терпения, и на головы интеллигенции полились реки зловонной мочи. Вот тогда-то Учредительное собрание и побежало. Это и был истинный переворот, людей погрузили в другую реальность. То, что можно назвать пропастью небытия. И все в той или иной степени стали существовать в мире «материально-телесного низа», если воспользоваться термином Бахтина, только смеха тут не было.

Адик, как его дальний родственник, тоже любил обижать людей, стоя на своем балконе четвертого этажа и стреляя мелкими пулями из купленного ему дедом духового ружья в прохожих. Мальчик с толстым задом, похожий на жабу, он стрелял довольно метко, целился в ноги или в попы. Пуля как бы ужаливала, но никто не понимал, откуда этот укус. А потом у себя дома люди вынимали из-под кожи эти мелкие пульки, и не могли соотнести укус и место, где их эта пулька укусила. Перед мальчишками он этим хвалился, а мы в растерянности смотрели на того, кто все это мог себе позволить. Это поражало даже больше, чем подлость, даже преступность его поступка. И хоть жил он в соседнем подъезде наверху, мне казался каким-то подземным гадом. Прозвище «Адик» было не случайно.

Но кажется, все же первое реальное столкновение у меня с подземным миром, вернее, ожидание ужаса от такого столкновения случилось, когда мы с отцом тайком хоронили кувшин с прахом его матери, моей бабушки в могиле деда. Первое, что я тогда с очевидностью увидел, — равнодушие начальства к заслугам умерших, если они не включены в некий список. Бабушка перед смертью просила ее похоронить в одной могиле с мужем, но при этом кремировать ее. Это оказалось спасительным решением, как потом мы поняли. С дедом она вернулась в СССР из Аргентины, из Буэнос-Айреса, в 1926 году, где она организовала аргентинскую компартию. Но, как всегда бывает, зачинатель дела всегда оттеснялся, выкидывался из дела. Недаром Петр Великий уезжал из России, чтобы вернуться уже другим, новым человеком. Это был необходимый промежуток времени, чтобы стало понятно, что он не такой, как остальные, что он Хозяин Жизни. Словно с того света вернулся, а это мало кому удается. А бабушку бывший уголовник, которого она ввела в ЦК компартии — решительного «человека из народа», по имени Кодовилья, — выжил из партии, интригами добившись поста генерального секретаря. Этот секретарский пост после подъема Сталина на вершину власти стал котироваться, а бабушка потеряла право на партийную жизнь, стала партийной нежитью. Эмигрант-итальянец Кодовилья был человеком из бандитского подземного мира, того мира, на который со времен Бакунина революционеры очень рассчитывали. Вот Кодовилью и возвысили. Человеку вообще-то почти не свойственно чувство благодарности. Особенно когда она препятствует личной выгоде. И итальянец развернулся, как мог. Даже дворец себе построил на окраине Буэнос-Айреса с огромным подвальным цоколем, два этажа вниз. И бабушка вернулась в Россию, откуда эмигрировала после революции 1905 года, уговорив на отъезд и своего второго мужа — моего деда, профессора геологии Ла-Платского университета и испаноязычного драматурга и философа, вот список его текстов:

Noche de Resurrección: Esbozo dramático en 3 actos // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año XI. T. 25. 1917. P. 181—220.

Sandro Boticelli: Drama en 3 actos de la época di Renacimiento. Griselda: Leyenda dramática en 1 acto de la Edad Media. Noche de Resurrección: Drama en 3 actos de la época moderna. Buenos Aires: Nosotros, 1919. 178 p.

Victoria Colonna: Poema dramático en tres actos con un prólogo. Buenos Aires: Nosotros, 1922. 115, XI p., 1 l. portr.

Halima: Leyenda dramática en un acto // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año XVI. T. 41. 1922. P. 59–71.

Leyendas dramáticas. Buenos Aires: «Buenos Aires»; Agencia general de librería y publicaciones, 1924. 137, [3] p.

Lenin. Buenos Aires: J. Samet, 1925. 115 p.

Философия и эстетика

La moral de Tolstoï // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año VIII. T. 15. 1914. P. 188–199.

La guerra europea y sus consecuencias // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 18. 1915. P. 17–25.

La ultima tentacion de Cristo: sobre una pagina de Tolstoï // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 19. 1915. P. 21–26.

Las ideas religiosas de Tolstoy // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año IX. T. 20. 1915. P. 240–257.

Sobre algunos dramas de Ibsen // Nosotros: Revista Mensual de Letras. Año X. T. 22. 1916. P. 265–274.

Amado Nervo como filósofo // Atenea (La Plata, Argentina). Mayo–junio 1919.

El problema social y la revolución maximalista en Rusia // Revista de filosofía. Año V. T. 9/1. P. 114–135 (= Cuasimodo: Magazine Interamericano. T. 20/13. Sept. 1920. P. 6–18).

La estética de Croce // Revista de filosofía. Año VII. T. 13/3. 1921. P. 363–393.

Proletkult // La Antorcha: periódico republicano democrático. 10 feb. 1922.

La estética de Kant // Valoraciones. Vol. II. La Plata, 1924. P. 62–67.

Сам он, как рассказывал отец, больше прочих любил свою пьесу о древнегреческом слепце прорицателе Тиресии. «Tiresias» из цикла «Leyendas dramaticas». Ему казалось, наверное, что он, как Тиресий, понял тайну секса. Зевс и Гера привлекли Тиресия, чтобы рассудить их спор о том, кто получает больше удовольствия от любовного соития — мужчина или женщина. Когда Тиресий ответил, что для женщины удовольствие в девять раз больше, проигравшая спор Гера ослепила его; Зевс же наделил Тиресия вместо зрения способностью прорицать и дал ему жизнь, равную семи поколениям. Деду, как вспоминал отец, казалось, что жизнь его не будет иметь конца. Сто раз мог погибнуть, но все живой. Да и тема покойников вполне была в контексте латиноамериканской литературы. Но мне казалось, что чрезвычайно образованный дед наверняка читал и «Бесплодную землю» (*the waste land*) Элиота, где рассказчик — «слепец Тиресий». Дед не был аргентинцем, а старшим сыном в большой еврейской семье из молдавского села Ферापонтовка. Вначале хедер, а потом он уехал в Горную академию саксонского Фрейберга. Он свободно читал не только по-русски и испански, но, конечно же, на идиш и по-немецки (пять лет Bergakademie in Freiberg). Дед вообще-то умудрился, родившись в абсолютно глухом молдавском селе, объехать весь мир — начав с Германии, с саксонского города Фрейберг, там четыре года жизни немецкого бурша, он ее полностью принял, по легенде даже участвовал в студенческих дуэлях на рапирах, но диплом получил. Эту Горную академию заканчивал когда-то Ломоносов, это давало ориентир и планку приезжавшим из России студентам. Там он выучил и английский.

А по окончании Bergakademie он вернулся в Россию на Урал, потом его носило по миру. Дед был женат первым браком на русской женщине из старообрядцев, которую вывез в Аргентину с Урала, а потом обеих жен и своих детей от обоих браков — в Советскую Россию. После его смерти первая жена пыталась зарабатывать, издала учебник испанского языка, когда я подросток, она подарила его мне, а потом легла, не вставала почти месяц, а перед смертью шепнула: «Ухожу к Моисею». Похоже, она была верующей. В Советской России моя бабушка восстановила свой партийный стаж — с 1903 года, что для ее партийной позиции было важно, но, к счастью, не получила ни одного партийного поста, только заведование кафедрой истории партии в Тимирязевской академии. Дед там же вел кафедру геологии, за современной литературой не следил, из русской литературы читал только Пушкина. Он много ездил в экспедиции (подальше от столицы!), разработал знаменитое тогда Керченское месторождение, за что был выдвинут тремя академиками — Вернадским, Вольфовичем и Ферсманом — на Сталинскую премию и в членкоры. Управление Камышбурунского комбината выдвижение это поддержало.

В газете «Тимирязевец» писали: «Много труда и энергии положил профессор Кантор, чтобы создать сырьевую базу железных руд на Крымском полуострове. В результате — сейчас строится Камышбурунский гигант, который даст стране миллионы тонн железа и сотни тысяч тонн фосфорошлаков. Своей настойчивостью и упорством профессор Кантор разбил вредительские теории о нецелесообразности эксплуатации керченских руд. И действительность показала, что профессор Кантор был прав. Профессора Кантора можно назвать отцом керченской металлургии».

Но заместитель деда по кафедре написал донос, что дед — скрытый троцкист, ведь из Латинской Америки приехал наверняка с заданиями от Льва Бронштейна. И хотя Троцкого выслали в 1928 году, а дед приехал сюда в 1926 году, — разница во времени никого не интересовала. В конце 1936 года его арестовали. Перипетий было немало. Семейное смутное предание (специально никто не раскапывал) сообщало, что после ареста и двух месяцев в сырой камере, где воды было по щиколотку, прыгали всякие земноводные гады, похлопывая хвостами и лапками по ногам, и первого допроса с пристрастием дед попал в тюремный дурдом, где вдруг замолчал и целый год молчал. Иногда только шептал строчки из Элиота: «*But at my back in a cold blast I hear / The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear*»¹. Ему казалось, что он в подвалах испанской инквизиции, где за лишнее слово вырывали язык. «Это наш немой, — острили охранники, — бормочет что-то как придурочный. Или молчит сутками. Словно неживой. Наша нежить». Но кровь-то из заключенных пили они, дед-то был живой, почему-то храня в памяти свои геологические открытия и свои испаноязычные пьесы, бормоча еле слышно чаще всего монологи из своих пьес, из «Тиресия» и «Кассандры». Его перестали таскать на допросы. Решающую роль в освобождении деда сыграла бабушка. Она вернулась спасать мужа из Испании в 1938 году с орденом Боевого Красного Знамени, орденом важным по тем временам.

Получила его, пройдясь по краю могилы, иначе эту ситуацию не назовешь. Дело было в Валенсии, которую на тот момент занимали республиканцы, а бабушка работала переводчицей между советскими и испанскими военачальниками. Неожиданно началась атака франкистов, республиканцы побежали, бежал и их штаб в полном составе, бросив на произвол судьбы переводчицу, а также все штабные карты и документы. О переводчице никто и не подумал, жизнь тетки ничего не стоила, а вот потеря документов должна была оказаться военным преступлением. Но бабушка все же имела хороший опыт подпольной работы в дореволюционной России. Она сложила в хозяйственную, но элегантную сумку все штабные бумаги, карты, в том числе

¹ В русском переводе: «И в вое ветра за своей спиной / я слышу стук костей и хохот надо мною».

и контурные, на которых направление задуманного удара виделось яснее, и пошла к своей валенсийской приятельнице, у которой прожила больше недели, — до того момента, когда артиллерия, а затем пулеметы показали, что республиканцы возвращают Валенсию. Тогда моя еврейская бабушка Ида Исааковна (И. И., как называла ее мама) вернулась в штабной дом, в подвал, согрела на электрической конфорке кофе, будто оттуда и не выходила. Сидела и смотрела на многочисленные кротовые норы в полу подвала. Но никого из ползающих в мелких лужах жаб и выползавших из своих норок она кротов не трогала. Она чувствовала себя, свою сумку с документами, миной, зарядом, заложенным под штаб. То есть из подземелья она как бы была сильнее всех, но к чему приведет взрыв — к всеобщей гибели или спасению — она еще не понимала. Не окажется ли этот подвал ее могилой?

Но была она хороша собой и витальна чрезвычайно.

Услышав, что штабные вернулись и тихо ругаются, не обнаружив ни карт, ни документов, и с каждой минутой понимая все отчетливее, что все документы у франкистов, что ничего хорошего их не ждет. Советская система уже действовала и в Испании. Возможно, среди них и не было сотрудников органов. Но чекист жил в каждом.

«Este fusilamiento» (это расстрел), — произнес мрачно испанский полковник в республиканской форме. В ответ русский генерал в такой же форме вытащил пистолет и застрелил его, жестко сказав: «Паника ведет к расстрелу, — и добавил: — Документы необходимо найти. Франкисты, похоже, их еще не рассекретили. Они могут быть в любой офицерской, а то и солдатской сумке. Готовим спецоперацию. Жертвы будут, но документы важнее. А тот, кто их здесь оставил, будет судим военным судом». Он говорил, как существо подземного мира, знавшее, что может многих забрать к себе, что каждый должен быть готов к подземному небытию. Но большевики, как всегда говорила бабушка, к смерти относились с презрением, а в потусторонний мир и вовсе не верили. Но к бесцельной смерти тоже не стремились. Было важно, чтобы бумаги попали в нужные руки. И чтобы стало ясно, что нет потерь. Тогда она открыла дверь и вошла. «О, ты уцелела! — воскликнул генерал. — Это хорошо, но сейчас нам не мешай!» Та расстегнула хозяйственную сумку и достала бумаги: «Проверьте, все ли в порядке! Я успела их унести и сохранить». Далее была немая сцена. «Оставившего документы — к расстрелу, а нашу переводчицу — к боевому ордену!» — приказал генерал. Так и получилось. Орден потом бабушке пару раз помогал. Она уехала из Испании до разгрома республиканцев, а потому уцелела. Что она сказала своим военачальникам, не знаю. Но ее отпустили, дали документы для проезда. А она ехала спасать мужа. И орден открывал ей многие двери. Деда выпустили в конце 1940 года. Как началась война, все сыновья ушли на фронт, а бабушка увезла деда в эвакуацию, в Ташкент.

Она для начальства была героиней, хотя и с подпорченной в Аргентине репутацией (донос Кодовильи). И хотя клевету Кодовильи дезавуировали, но положили его бумаги в ее досье. Дед умер в 1946 году, успев подержать на руках внука. То есть меня. А за год до смерти деда начальство Тимирязевской академии решило завести маленькое кладбище для академиков и профессоров внутри Тимирязевского парка (кстати, бывшего Петровского), безо всякого освящения, потому что профессура была партийной и, как правило, атеистической. От трамвайной остановки (напротив музея коневодства, где перед музеем стояли две металлические лошади, на которых мы любили в детстве сидеть) надо было пройти метров четыреста по дороге вдоль парка и свернуть по тропинке налево. За решетчатой оградой было десятков могил. Состав покойников был ограничен, в основном — академики. За деда просил Вернадский. На могиле деда поставили памятник из камня, который привезли дедовские студенты-геологи с Кольского полуострова.

На памятнике была выбита надпись, где сообщалось, что дед двадцать лет был профессором академии, а с 1916 года членом ВКП(б). Это было очень важно, значит, арест не учтен, значит, прощен.

Деда бабка при этом держала в ежовых рукавицах, стригла, брила, следила за едой и оттачивала на нем свое мастерство преподавателя истории партии. Она рассказывала ему эту историю перед каждой лекцией, меняя согласно высшим указаниям даты и факты, особенно те, к которым была непричастна. Она любила оставаться и молча смотреть на него, словно впитывала в себя. «Ида, — говорил тогда дед, у которого от ее взгляда начинала голова кружиться, — перестань так смотреть, ты прямо словно все из меня вынимаешь. Ида, ты энергетический вампир!» Бабушка тогда запевала «Бандьеру росса» и уходила. Умер дед отчасти по ее вине. Она что-то готовила на кухне, он лежал на кровати в своей комнате. И вдруг он тихо позвал ее: «Ида, мне плохо!» Она ответила: «Потерпи пять минут, не капризничай, сейчас приду». Когда она вошла в комнату, он уже не дышал. Она впила губами в его губы, пытаясь своей колдовской силой вернуть его к жизни. Мама вбежала в комнату и застала эту сцену: губы бабушки плотно прижаты к губам деда, а потом бабушка откинулась. Дед не дышал. И в перепуганном сознании мамы, полудеревенской женщины, возникло убеждение, что бабушка — истинный вампир и высосала у деда его жизнь. И навсегда в это поверила.

Бабушка умерла тридцатью годами позже — в 1977-м. В 60-е годы по всей стране отмечали какую-то годовщину испанской войны. Тимирязевка тоже включилась в общий процесс, тем более что у них была реальная участница испанских боев, то есть бабушка, да еще и с орденом Боевого Красного Знамени. Ее посадили, разумеется, в президиум. На лацкане ее пиджака висел орден за Испанию. Речи лились о героизме испанских республиканцев и интербригадовцев, которые, конечно, победили превосходящего численностью врага. Но прямота большевиков порой была удивительна. Надо добавить эпизод о бабушкином простодушии. Что-то она знала, а что-то в жизни прошло мимо нее. Домработница как-то жаловалась бабушке на мужа: «Мой-то опять нажрался. Всю ночь вначале блевал, а потом на полу уснул». Бабушка: «А зачем же он так много ест? Вы следите, чтобы он не передал!» — «Да не ест он, а пьет». Бабушка не поняла: «Чего он пьет?»

Действительно, стальные люди. И бабушка потребовала слова, которое ей было предоставлено. Ожидали торжественно-победительных фраз, но старуха сказала: «Не понимаю, чему вы все радуетесь и ликуете. Ведь мы проиграли войну вчистую. Победил ведь Франко!» Вампиры кто угодно, только не трусы. Могли бы, так ее бы просто живьем закопали. Любимое занятие для борьбы с чужими. Орден помешал. Но из всех торжественных советов ее исключили. Хотя газета «Правда», когда она умерла, дала извещение о смерти члена партии с 1903 года. Это был знак отличия. Но когда отец пришел после ее кремации просить у руководства академии разрешения захоронить прах его матери в могиле мужа, ему отказали наотрез, сказав, что кладбище законсервировано и что такое захоронение — дело подсудное. И местный партийный босс добавил вдруг: «Во время празднования юбилея испанской войны она противопоставила себя коллективу. Поэтому и мы ей навстречу не можем пойти. Вы же бывший военный и коммунист. Легчик, кажется...» Отец вздрогнул и проговорил, сильно побледнев, как бывало, когда он принял какое-то решение, а ему мешали: «Вы и не можете пойти ей навстречу: она умерла». Секретарь парторганизации поморщился от неуместных для него слов и, сурово глядя на отца, напомнил ему, что не в том дело, кто жив, а кто умер, партию это не интересует, член партии должен выполнять решения партбюро, а партбюро постановило это кладбище больше не использовать. «Пусть те, кто

удостоился чести лежать на этом кладбище, вкушают покой, и им никто не должен мешать», — секретарь употребил даже неожиданное в его речи словосочетание «вкушать покой». А как можно помешать мертвецам с точки зрения коммунистического материализма, и вовсе было неясно. Отец и вправду был членом партии, вступил во время войны, и вправду верил в идеалы, но урна с прахом его матери стояла на кухне в шкафу среди посуды и еды, и выглядело это вполне макабрически. Мать мрачно спросила, не хочет ли отец просто захоронить прах матери на обычном кладбище, не выполняя невозможного пожелания, в могилу мужа. Но если первая — верующая — жена умирала, веря, что встретится с Моисеем на том свете, то материалистическая бабушка хотела материального воплощения их единства — лежать в одной могиле.

Вечером отец вернулся домой, принес с собой лопату, — инструмент не из его повседневного быта. Мама сразу сказала: «Карл, не сходи с ума! Тебя посадят за нарушение партийного решения, а самое важное — что тебе припаяют осквернение могилы». Отец вдруг взорвался: «Это не осквернение могилы, а исполнение воли моей покойной матери! И я ее волю исполню! Понятно?» Мама, бабушку не любившая, считавшая ее почему-то ведьмой, и вполне серьезно, выкрикнула: «Но Вовку не возьмешь ковырять могилу! Да еще ночью! Я не хочу, чтобы она его утащила за собой!» Поразительно, что мама была человеком ученым, генетиком, кандидатом биологических наук! «Не сходи с ума!» — возразил отец, взял урну, лопату и заперся в своем кабинете.

Вдруг по телефону позвонил Сим, бывший студент отца по Гидромелиоративному институту. Отец там преподавал философию. И Сим прилип к нему, пытался читать философов, забросив гидромелиорацию: он искал себя. Часто бывал у нас дома. Маленький, тощенький, с заискивающими глазами. Очень ему нравились рассказы отца о моем деде, которого Сим теперь воображал как неземное существо. И начал переснимать его старые фотографии, превращая их в старинные портреты. Он всегда звонил, предлагая помощь. И сейчас помощь была нужна, он ведь знал, что бабушка умерла, но отец уперся, что это дело его и мое. И сказал Симу, что проблем сейчас нет и в помощи он не нуждается.

А я лежал на своей узкой тахте и почему-то вспоминал детсадовскую историю, которую мы любили друг другу рассказывать перед сном. Таксиста нанимает на перекрестке девушка в белой шубке, дело зимой и поздно вечером. И говорит: «На Рогожское кладбище, пожалуйста, и подождите там меня минут десять». Ну, поехали, довез, подождал минут пятнадцать. Смотрит — белая шубка к нему от ворот спешит. Опушка нижняя мокрая и колени тоже и немного в земле испачканы, а глазки от света фар словно сверкают. «А теперь, — говорит, — на Вознесенское, тоже недолго». И вправду не больше двадцати минут она не возвращалась. А шоферу какое-то сомнение в душу запало: чего, мол, она по ночам на кладбище делает? Вот снова от ворот к нему бежит, снова шубка по низу в снегу и немного в земле, глазки сияют, а губки полные, красные. Снова садится: «Чтобы вы не сомневались, вот вам сто рублей как аванс. А меня теперь — на Новодевичье, но там меня подольше подождать придется, не меньше получаса». Доезжают, она выскакивает и за воротами исчезает. Он ждет-пождет, время уже давно за полночь перевалило, часа два ночи, а ее все нет. Жутко ему что-то. Всякие истории про мертвяков вспоминает. И когда наконец увидел ее, то даже поначалу обрадовался. А она как-то тяжело идет, будто после сытного обеда. Шубка в снегу и в земле, рот тоже землей измазан, глаза сонные, вроде и впрямь на пиру была. Садится к нему, уговоренную тысячу протягивает: «А теперь снова на тот перекресток, где меня подобрал, там и выйду». Он рулит себе, а потом не выдерживает

и спрашивает: «А что вы по ночам на кладбище делаете? — и пошутить решил: — Мертвяков, что ли, едите?» А она вдруг его за отвороты куртки к себе притягивает и произносит громким шепотом: «ДА, ЕМ!!!» Понятное дело, очнулся шофер в Кащенко. Тут я ненадолго уснул, чтобы к трем ночи подняться и идти с отцом на кладбище.

* * *

Бабушка, его мать, была для отца камертоном жизни. И вправду она считала, что моя мама ему не пара, особенно после смерти деда, свекра, который маму любил и всегда защищал от жены. Но потом бабушка абсолютно овладела психикой отца. Она была храброй женщиной, и в этом вывороченном наизнанку мире чувствовала себя хозяйкой. Почти барыней. Мама же помнила, что в другом ненормальном облике России ее бабушка, моя прабабушка, была крепостной рабой. И бар не любила. Только любовь могла соединить таких разных людей. А потом начала действовать разность слоев. Партийный чин был своего рода дворянством. Вот одна из маминых записей: «Большой скандал с утра. В этот день я не ездила в Бирюлево. И. И. позавтракала, и я накрыла нам троим. Карл сел за стол, старший мой еще был в школе. Вошла в кухню И. И. и стала что-то наигранно оживленно говорить, стоит, не уходит. Партийная барыня. И напевает: „Говорят, я простая девчонка / Из далекого предместья Мадрида...“ Все время живет с Испанией, даже на столе ее письменном статуэтка интербригадовца. Да и Карл часто поет: „Я хату покинул, пошел воевать, / чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!“ Хрен они отдали, а не землю. А нас с Вовкой словно нет. Я стала откашливаться. Меня К. спрашивает: что с тобой, ты больна? Да, я больна. Я не соврала, я больна огромной ненавистью к ней за то, что она все время устраивала между нами раздоры. Я ненавижу ее до спазм в мозгу, не могу ее видеть, не могу ее слышать, и К. это знал и знает.

Она стояла за моей спиной, что-то ему показала и тотчас же вышла. Он начал ко мне приставать: „Ты что так маме относишься, ты что безобразничаешь?“ Я не выдержала и тоже очень раздраженно крикнула. „Ты мне надоел со своей матерью, когда это кончится!“ Тут он встает и через стол раз меня кулаком по лицу, но, к счастью, не достал. Это его разозлило, он встал, хотел обойти стол, кричит: „Я тебя сейчас убью, ты долго еще будешь безобразничать!“ Прибежал Вова и схватил его, не пускает ко мне. Он со всей силой, озверев, лезет ко мне с кулаками, а Вова его не пускает. Пришла И. И., полюбовалась из коридора, как он лезет меня бить, и ушла к себе. Тогда он начал хватать посуду со стола и бросать в меня. Я хочу выйти из кухни, он меня не пускает. Схватил большой осколок зеркала, который лежал на холодильнике и тоже мне в голову. К счастью, ни разу не попал. Сам порезался об него. Увидев кровь на пальцах, он пришел немного в себя, я выбежала из кухни в комнату и стала собираться уходить. Он вошел в комнату и говорит: „Шантажируешь, довела до драки“.

А я ничего ему не говорила, не делала. Она его, как всегда, настроила, подбила. Перед этим я ей не открыла входную дверь, она шла из кино, а я уже легла в постель, она звонит, я ей крикнула, что дверь открыта, она снова звонит долго и продолжительно. Я встала, открыла и сказала, что есть ключи и можете ими открыть. В другой раз я в трамвае случайно встретилась с ней, и я прошла мимо нее. Это тоже все обсуждалось, и было соответственное сделано внушение. Да еще я плюю ей вслед, когда мы вдвоем. Я ее ненавижу, а она меня, но делает это не своими руками, а через сына, и это еще больше меня злит. Она разбила нашу семью, и это вызывает у меня непрекращающуюся ненависть и презрение».

А это уже мой рассказ — о рождении младшего брата, который, выросши, старался свести меня на нет. В тот день маме было плохо. Она несколько раз сползала с дивана, ходила в туалет, потом сказала мне: «Надо неотложку вызывать, уже воды отошли. Сумеешь?» К тому моменту и бабушки Иды дома не было. А я был мальчик, домашний, книжный, совершенно не понимал, что значит «воды отошли». И в свои тринадцать взрослым себя не чувствовал. Но надо было делать. Я позвонил, мне ответили, что все машины на вызовах, придется часа два подождать. Тут я нервно начал кричать, что я сын, что никого из взрослых нет, что у женщины воды отошли и неужели они не понимают, как это опасно. Очевидно умилившись мальчишескому голосу, который испуганно произносил слова, которых сам не понимал, заведовавшая машинами распорядилась, и через двадцать минут неотложка уже стояла у подъезда. Еще была проблема свести роженицу с третьего этажа. Это больше всего беспокоило молодую врачиху. Санитар с одной стороны, сын — с другой, изо всех сил поддерживали маму почти на весу, довели до машины, там с помощью шофера санитар уложил маму на лежанку внутри перевозки.

Я остался один, что было жутковато с непривычки, но с маминым заданием, которое придавало решимости. Воспитан я был просто: раз надо, значит, надо. Надо было дойти до бабушки Луши и рассказать ей, в какой роддом повезли маму. Карманных денег у меня не было, и, странно чувствуя, что взрослею, я пешком дошел до Тимирязевской академии, оттуда по Лиственничной аллее, через Окружную железную дорогу, а затем до домика бабушки Луши в местечке под названием Лихоборы. Название-то было, наверно, смысловое, лихие люди когда-то тут жили, но тогда я в это не вдумывался. «Спасибо, сынок», — сказала бабушка, напоила чаем, и мы вышли вместе, поехали в роддом, чтобы «ты отцу мог сказать, где мама-то лежит». Походили под окнами, новостей у дежурной не было, отправили записку, яблок не взяли, бабушка дала мне мелочь, на эти денежки я и вернулся домой. Интересно, что в первый вечер бабушка Ида даже не поинтересовалась, где мама. Жесткость старого большевика. Они так и друг к другу относились.

Да, это было, но все же — как взрывы, обычно шли нейтральные будни. Два очень сильных женских характера, воевавших за мужчину. А он метался, любя обеих, и мать, и жену. В тот вечер, перед захоронением урны, я ушел в гостиную, где на гостевом столе готовил уроки, а на маленькой тахте спал, понимая, что сегодняшняя ночь будет непростой. В одиннадцать часов вечера, когда уже стемнело, а я уже дремал в постели, в комнату вошел папа, тронул меня за плечо, включил настольную лампу у моего изголовья, молча показав, что надо вставать, но не шуметь, чтобы не разбудить маму. Но мама уже стояла у входной двери. В руках она держала лопату, которую принес отец. «Я не хочу, чтобы вы этим занимались. Это не просто опасно. Нельзя мертвецов тревожить. Навьи страшны. Пристанут — не уберезжетесь, не избавитесь. Будут угощать чем-то, так не ешьте». Папа сказал решительно, забирая у нее лопату: «Таня, ты же биолог, ученый! Перестань мутить голову сыну». Я спросил: «А что такое навьи?» Мама посмотрела на папу, мол, не мешай, и ответила: «Это ожившие мертвецы, народный фольклор». Я уже учился в последнем классе, а потому кивнул, что знаю, мол. Папа сказал сухо: «Все же у нас в России наука неотделима от суеверий, сказок и мифов». Мама огрызнулась: «А в твоей Аргентине разве в мертвецов не верят? Сам рассказывал». Отец сжал губы: «В нашей семье не верили».

Одну остановку — от нашего *Краснопрофессорского проезда* до *Пасечной* — мы проехали на трамвае. Трамвайные рельсы шли мимо кустов и остролистной травы. Существовала дворовая легенда, что сын профессора Жезлова Андрей (по прозвищу Адик) как-то проехал от одной остановки до другой, когда его ноги за-

жала трамвайная дверь, и он целую остановку перебирал руками. Я верил, хотя руки его не были даже поцарапаны. Мы вышли у факультета (он же музей) коневодства, перед которым стояли две металлические лошади. Сама пасека была в глубине парка на большой поляне. Перешли трамвайную линию, шоссе и шагнули в начало леса. Вечером парк и впрямь напоминал лес: густо и темно от листвы и плотно стоявших деревьев. Но небо было еще светлое, хотя виднелся серп нарождающейся луны.

Мы шли тропкой вдоль лесной дороги, проложенной для машин в Тимирязевский парк, называвшейся как и остановка *Пасечной* дорогой; пахло ночной листвой, и странный какой-то запах от малинника, росшего по краю тропинки, почти ягодный, добавлял смертельной сладости. Дорога, если идти дальше, выводила к *Зеленовке*, местным горкам, нашему местному *Крылатскому*, где зимой на лыжах собиралась вся округа. Но в тот момент, по совести говоря, я боялся. Не ночного парка, а того, что нам придется разрывать могилу. Если кто увидит (и кто это может быть?), что нам скажут?! Арестуют? Может, разбойников боялся? Года три назад все тот же Адик, подговорив других мальчишек, решил показать книжному мальчику разбойничье становище в нашем парке. Мы пошли тогда в глубь парка, прошли почему-то никогда не замерзающий Олений пруд, окруженный березами и американскими кленами, орешником, «совершенно левитанистый», как называл его отец, когда мы гуляли с ним по парку. По утрам там мирно квакали пели лягушки, было почти уютно. А мальчишки превратили этот путь в нечто странное, по дороге мы видели какие-то красные стрелки («сделанные кровью», говорил Адик). На пне вдруг Адик, всю дорогу державший руки в карманах, углядел и нам показал распластанную лягушку со вскрытыми внутренностями. Кружились мухи. И мы вышли к дубу с большим дуплом. Перед ним было натоптано и валялись обрывки разодранных в клочья женских тряпок. Адик подошел к дубу, привстал на цыпочки, сунул руки в дупло и вдруг заорал дурным голосом, помотав перед нами своими руками, покрытыми чем-то красным. «Кровь! Кровь!» — орал он. И бросился наутек. Мы за ним. Больше таких случаев не было. Потом я со своим старшим приятелем, сыном профессора Николая Николаевича Тимофеева, будущим биологом Кириллом Тимофеевым, ходил даже в теплые зимние дни в глубь парка на Оленье озеро — ловить головастика и дафний, вода там бывала даже теплой. Дафний Кирилл ловил в сачок, сделанный из капронового чулка его матери. Они очень маленькие, но в его сачке они оставались. Дафниями он кормил своих аквариумных рыбок. Он не одобрял моего общения с Адиком, как помню. «Он же гад, — говорил Кирилл. — Не водись с ним». Но не больше. Он не любил осуждать других, все же сын профессора.

Дошли с отцом до тропки, поворачивавшей в глубь парка, к кладбищу. Оно было в конце Пасечной улицы, напротив теплиц — в бетонном заборе решетчатые ворота, среди деревьев, в самом парке, почти в лесу. Уже показалась решетчатая ограда, как вдруг отворилась тугая дверца, и с кладбища вышел молодой мужчина, постарше меня, но не очень. Он был высокого роста, с широкими, но согнутыми, как у боксера, плечами, черноволосый, волосы лежали на голове, как кепка с козырьком, с немного перекошенным лицом, какое бывает у детей, переживших менингит, в глазах какой-то красный отсвет, на плече светлая холщовая сумка. Колени запачканы землей. «Почему?» — спросил я себя с тревогой. Явно он был не из *Круга*, не из семьи, не из Тимирязевской профессуры. А мужчина протянул навстречу отцу руку: «Здорово, мужики! Может, помочь чего надо? — и добавил: — Меня Эрик зовут». Вынул из кармана горсть семечек: «На, парень, угощайся семками!» Раскрыл мне ладонь и всыпал туда пахнущие подсолнечным маслом

семечки. Мамины слова о навьях будто вдруг, как в сказке, подтверждались. Я незаметно скинул семечки в траву. Папа, не умея отказывать в рукопожатии, растерянно-интеллигентно пожал протянутую руку, но твердо сказал, отодвигая его плечом с дороги: «Нет, вы нам ничем не можете помочь!» Но мужик не отставал: «А вы не на могилу профессора Кантора? Я вот кореш внучатого племянника академика Жезлова, знаменитого нашего китаиста советского, все по заграницам мотался, вроде папаню вашего на фотографии у кореша рядом с его дядькой видел. Вы очень на него смахиваете».

Посмотрел на нашу лопату и спросил: «А вы чего-то подкопать хотите или пересадить? Могу помочь, я вот академику по просьбе того самого кореша, его внука, с которым в начальной школе учился, пару кустиков подсадил, хотя инструмент не самый для того удобный. Да вы, наверно, этого друга знаете, с вашего двора, всегда в костюме, в галстучке, выбрит и кривомордый такой, с толстым задом, на жабу похож, Адик зовут, тоже из заграницы не вылезает», — и он достал из холщовой сумки огромный складной ножик, нажал какую-то кнопку на нем, и из рукоятки выскочило серьезное лезвие. «Этим и копал, — сказал молодой мужчина. — Хотите, и для вас постараюсь?» Отец возразил: «Нет, мы сами». Мужик кивнул: «Ладно, как хотите. Но я у ограды постою, посмотрю. Если понадобится — позовете». Отец шагнул за ограду, я за ним. В маминой хозяйственной сумке, которую он держал в левой руке, у него была небольшая металлическая урна с прахом бабушки. Он подошел к камню, выломанному геологами из какого-то распада, пупырчатому, только лицевая сторона его отшлифована, на которой была выбита надгробная надпись.

Отец воткнул лезвие лопаты рядом с могилой и погладил надпись ладонью. Мне показалось, что он плачет. Над маленьким кладбищем склонялись деревья, на некоторых могилах росли кустики. Сумку он опустил на землю рядом с лопатой. Черноволосый парень не уходил, впившись глазами в нашу пару, руку с ножом положил на ограду. Надо было начинать копать могилу, но парень явно мешал отцу. Получалось, что мы «оскверняли могилу» в чьем-то присутствии, причем присутствии человека сомнительного, «если вообще человека», — подумал я. Отец подошел к могиле академика Жезлова, новых кустиков там не было, но было несколько свежих лунок, довольно широких, будто что искали в земле, но не нашли и вновь засыпали.

Мы повернулись к парню, который все не уходил. Поймав наш взгляд, он оживленно закивал головой, мол, его работа. И отец сделал несколько шагов к нему. И сказал: «Я, наверно, должен объяснить вам что-то, чтобы вы мне помогли, — и, запнувшись, добавил: — Я хочу урну с прахом моей матери захоронить в могиле моего отца, ее мужа. Но я никогда в жизни не раскапывал могил. А у вас вроде такой опыт есть». Парень вдруг очутился рядом с нами, в калитку он не входил, это точно. Отец повел его к могиле деда: «Мне кажется, что надо аккуратно прокопать небольшую ямку, только ни в коем случае не задеть гроб. Положить туда урну, она металлическая. Ей ничего не делается. И засыпать, чтоб следов раскопки не осталось».

Ситуация была вполне макабрическая. До сих пор, как вспоминаю, прихожу в недоумение и ужас. Словно испуг перед партийным боссом толкнул нас к явному преступнику?оборотню? А может, и вампиру?.. если верить маминим суевериям... Интеллигентный и партийный человек искал помощи у явного осквернителя могил. Черноволосый парень взял лопату отца, отвалил от могилы пласт земли, потом своим ножом вырыл ямку. «Годится? — спросил он. — Размер урны какой? Вы мне ее покажите. Ее же надо аккуратно уложить». Отец достал из хозяйственной сумки урну и протянул ее парню: «Только осторожнее, моя мать — герой испанской войны. К сожалению, орден к урне не удалось прикре-

пить...» Парень вдруг распрямился: «Понимаю. Мой отец тоже в Испании воевал, в Гранаде. Я вырос с песней „Бандера росса“. А теперь забыл. Все детство при родной матери с разным отребьем скитаюсь, как Ласарильо из Торреса. Даже женился на любовнице секретаря райкома, как Ласаро на любовнице капеллана, на женщине с тремя детьми. Подкормился малость, а потом ушел к ее партийной подружке. Всегда заказы жратвы получал через распределитель ихний. Даже сына ей сделал». Показав свою образованность бродяги, он взял урну, поднес к уху и потряс. Вдруг отшвырнул ее и вскочил на ноги, вскричав: «Так это и вправду прах?..» И вдруг растворился в сгустившейся темноте парка. Словно под землю исчез. У меня по спине потек холодный пот. «Не бойся, — сказал спокойным, но напряженным тоном отец, — на войне еще и не то бывало. Разные видения. А мы ведь рядом со смертью». Но видением это не было. Мы осторожно уложили в ямку урну и засыпали землей. Землю разровняли и присадили травкой. Потом прошли годы, пока вдруг ко мне в память вернулся этот эпизод.

Лет пять назад до похорон бабушки я женился на *первой моей*, было много друзей, мы провожали молодость пьянками и песнями. Отец хмурился, когда к нам в комнату набивались приятели. Ему казалось, что я теряю жизнь в этих гулянках. И на мое тридцатипятилетие написал мне стихи. Он был профессиональный философ, но всю жизнь мечтал быть поэтом. Его стихи заворачивали, мол, не может человек с еврейской фамилией писать русские стихи. Весь стих приводить не буду, вот концовка:

В Начале, точно, было Слово.
 В Начале, После и Всегда.
 Теперь опять, как и тогда,
 Его я повторяю снова:
 «Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
 Оставь слова, слова, слова».

А папу все чаще стал посещать его бывший студент по имени Сим. Потихоньку он прижился, даже семейные истории усвоил. Через год после похорон бабушки умерла от сердечного приступа мама. Всего неделю промаялась. Мама успела застать Сима и не полюбила его: «Карл, он тебе лапшу вешает, а ты уши развесил. Не вздумай приглашать его на наши похороны». Отец отвечал: «Он меня ценит». Спустя два года папа умирал. Он лежал в больнице, к нему приходили друзья и родственники. Пришел неожиданно и Адик, чисто бритый, с кривой усмешкой и бегающими глазами, с ним был Сим: «Надо же помогать хорошим людям общаться, тем паче вы друг друга знаете, вот я и привел нашего общего друга фотохудожника Сима. Он немного мистик и чувствует Моисея Исааковича, отца Карла Моисеевича. Ну, сидите, а я по делам побежал». Отец был уже с элементами добродушной синильности, закивал головой, он верил Адик, а Сим так тот вообще все время говорил, какой дед Моисей был гениальный, поскольку пояснил миру, что только когда человек мыслит, он бытийствует (словечек набрался!), мало, кто это понимает, но человечество должно знать своего гения. Адик поддакивал с уверенным видом. Я возразил, что нечто подобное говорил четыреста лет назад француз Декарт. На что Сим простодушно-хитровато сказал, что человечество просто не доросло еще до полноты этих идей, которые сумел сформулировать только Моисей Исаакович. Он говорил, что сам он пронизывает тонкую пленку вокруг земного мира и создает в своих фотокартинах образы деда и его друзей. Отец кивал, улыбаясь благодарно, и, глядя на уродцев, изображенных Симом, уверял, что ху-

дожник имеет право на свое видение мира. А Сим, делавший фотопортреты, на которых персонажи выходили уродами, и впрямь уверял, что он выявляет суть своих героев. К тому же Сим родился в их окрестностях, в районе Соломенной Сторожки, а потому считал себя не только учеником, бывшим студентом, но почти родственником, уж во всяком случае своим человеком. Сим сказал: «А я вашего отца, Карл Моисеевич, изобразил прямо на середине Оленьего пруда, на коряге, как мудрую черепаху Тортилли, с таким же большим, как у него, лбом и глаза будто в очках». Отца похоронили рядом с маминой могилой.

Вспомнил я этот эпизод, когда понял, что подземный мир всегда рядом. Всякий считающий себя важным хочет овладеть этим миром, чтобы владеть миром живых обывателей. Миллиардеры отстреливают соперников, власть — оппозиционеров, те — людей из властных структур, но все это получает живительные соки из мира подземной братвы. После Октябрьского переворота Федор Степун написал, что Россия провалилась в «преисподнюю небытия». Недаром готовили этот провал *подпольщики*, то есть люди из подземного мира. Но в этом мире небытия, как в дантовском аду, были свои начальники, свое отребье, свой средний слой. Бабушка и дед принадлежали к среднему слою. Я всю жизнь в этом аду прожил маргиналом. Очень хороша была придумка владык русского Аида — коммунальные квартиры. Все наблюдают друг за другом, дружат, но при случае охотно получают комнату соседа, ибо ты в дьявольском пространстве, потому что у Бога на каждой своя келья и никто никому не завидует.

Но и маргинал коммуналки не минует. И я не миновал.

ДОМ НА БОЛОТЕ

Почему-то, уходя из первой семьи, я вспоминал все время яму, в которую братья бросили Иосифа, после чего жизнь его изменилась. Уход в никуда, квартиру я оставил первой жене и сыну, был похож на прыжок в яму без дна, как казалось Иосифу, когда его туда бросили. Ушел я в одном костюме, забрав десяток книг. Да и куда их было девать! Надо сказать, я оставил в прежней квартире огромную библиотеку. Первая жена мне все время говорила, что из-за книг я жизни не вижу, что так и проживу, не узнав из-за книжных строчек, как выглядит живая жизнь и чем она пахнет. Но, уходя, мне уже было не до книг, а про живую жизнь я и не думал, видя только мою новую возлюбленную. Она и стала моей жизнью. Мой знакомый рассказывал, что его приятель-книжник почти ушел к новой женщине, но, подумав о своей библиотеке, вернулся. Съемные квартиры в постсоветское время юридически не были обеспечены. Все на личной договоренности. Первая квартира рядом с метро «Первомайская», где мы прожили с Клариной почти год, была пустой и однокомнатной клеткой: голые стены, ни стола, ни стульев, ни одного шкафа. Десятый этаж, с балкона виден парк. Хозяйка квартиры, жившая с мужем на другом конце Москвы, получила эту квартиру как очередница (было такое — очередь на жилье). Она сказала моей новой женщине, с которой мы еще не расписались, но ради которой я готов был нырнуть в любую яму, как Иосиф, что квартиру она сдает почти навсегда, что мы можем делать ремонт. И закупать мебель, и жить, сколько захотим. Стены мы сами оклеили обоями, купили стол в комнату и полдюжины стульев. Кухня тоже была обставлена, дешевый кухонный стол и три табуретки. Двухлетняя дочка впервые оказалась с мамой и папой. Для кого это было важнее — для нас или для нее? Для нас, наверно. Но только мы обжились месяц или два, как в конце ноября получили письмо от

владелицы квартиры (телефона в квартире не было), что она разводится с мужем, что они не сошлись характерами. И возвращается в свою квартиру и просит нас съехать в течение недели, что ей наплевать, что мы сделали ремонт, это была наша затея, что она не просила. Это был классический бытовой ужас. Уже наступали холодные, почти зимние дни. Найти в течение недели новое жилье было практически невозможно, при том, что после ремонта денег у нас не осталось. Говорят: бедны как церковные крысы. Но у крыс хоть подвал есть, а нам даже землянку было не вырыть. И прибились слова дочки, которая доверчивыми глазами посмотрела на маму и спросила: «Мама, где мы зиму-то зимовать будем?» Эти слова, если честно, надрывали мне сердце.

Я бегал, высунув язык, в поисках жилья, но безуспешно. Это была не трагедия, это был ужас, из которого невозможно выбраться. С другом Колей Голубом мы как-то раз поехали даже в Новокосино, где рядом с крематорием вроде бы были свободные кооперативные квартиры. Голуб тоже жил в съемном жилье, хоть и был мидовец. Но еще без стажа работы и без особых связей. Было жутковато думать, что будешь жить рядом с крематорием. «Ничего, — сказал Голуб с хохляцкой своей усмешкой, — зато недалеко будет нас везти после смерти. Вот и упокоимся навек». В ответ я сказал философским тоном, что, в сущности, мы все живем на краю могилы, поэтому крематорий рядом — не страшно: «Вон америкосы живут на вулкане Йелоустоун, а чувствуют себя хозяевами мира, а привезенный немцами в бронированном вагоне Ленин существует уже у нас много лет и не живет при этом. В мавзолее лежит, и в крематорий его не везут. Уж лучше крематорий, чем такое бытие-небытие». Голуб хмыкнул: «Зато ему обеспечено это вечное бытие». А у меня в мозгу промелькнула еще мысль, которую я так и не высказал: «Думать о вечности, в которой нет Бога и смысла, — тоска, хандра и ужас. Только присутствие высшей силы успокаивает». Но смысла я не видел. И спокойствие не приходило. Помнил строчки отца: «Будь, словом, Вова, плоть трава...» Но слова приходили медленно.

Кларина, как и положено женщинам в делах устройства гнезда, оказалась много успешнее. Две линии, которыми она шла, были разумны. Во-первых, она поехала к владелице квартиры, поговорила с ней, добавила пару сотен к договоренной плате за ее квартиру, и та согласилась. Во-вторых, она нашла по объявлению, наклеенному на столбе (в те времена самый общепринятый способ передачи информации), подходящую партнершу для размена материнской квартиры. Партнерша съезжалась с мужем, который жил в коммуналке, Кларина получала его комнату в новом районе на восьмом этаже кирпичного дома, как строили в сталинские времена. А мужик съезжался с женой.

Нас спасли остатки крепостного права. А потом спас дом сталинской планировки, выстроенный при Хрущеве — на болоте для рабочих ракетного завода. Но по порядку. В советское время и даже перестроечное время вступление в брак двух разнополых неженатых субъектов вроде бы поощрялось. Семья — важная единица нормального общества, так нас учили со школьных лет. Но брачующиеся должны были (хоть один из них) иметь прописку в районе, где находился Отдел регистрации жителей.

Мои попытки получить жилье через работу оказались безуспешными. Не по чину просил. Но зато напротив нашей съемной квартиры, на другой стороне улицы, находился загс, так что Кларина, указав на него, усмехнулась: «Смотри, ты так боялся куда-то ехать, а загс сам прибежал к нам, никуда ездить не надо». Пошли, узнали, что здесь нам не расписаться, поскольку мы были из разных районов. Но выяснилось, что нужна справка от матери Кларины (заверенная в домоуправлении), мол,

она не возражает против этого брака. И тогда нам поставят штампы в паспорта. То есть с некоторыми сложностями оказалось возможным здесь расписаться. Мать Кларины была прописана в этом районе. Мы все куда-то приписаны, это шанс на нормальную жизнь. Мы были из разных районов, и если бы не ее мать, так и пришлось бы жить не в законе. Думаю, понятно, почему Кларина оказалась в другом районе, чем мать. В результате размена Кларина получила комнату в коммуналке. Мы еще не были женаты, и это оказалось благом. Если бы мы были семьей, то не имели бы право в дальнейшем на увеличение жилплощади. К моменту подачи заявления в загс Кларина с дочкой уже была прописана по нынешнему нашему адресу по улице Бориса Галушкина. Все нормально: мать-одиночка имела право на комнату в коммуналке, а что она вскоре нашла себе мужа — что ж, бывает! Но на свадьбу надо звать друзей. В коммуналку, да еще не обжитую, не позовешь. Съемная квартира — это комната в восемнадцать квадратных метров, четыре метра кухня, балкон. Вот и все. Дочку мы сдали теще. Два слова о свадьбе, точнее, о русской безразмерности. На этих восемнадцати метрах поместилось почти тридцать человек. И время прошло весело и весьма дружески. Как это возможно? А как в дачный автобус, рассчитанный на двадцать человек, идущий от железнодорожной станции до дачных участков, помещается человек пятьдесят, да еще с мешками, рюкзаками, саженцами и т. п. Не знаю. Очередная русская загадка. Или тайна русской терпеливой души или русского телосложения, когда корпулентные мужики и бабы умудряются ужаться до нужных размеров.

И еще заметка. Пришли на свадьбу две или три моих бывшие любовницы, им было до смерти любопытно, на кого я их променял. Жил с ними, жил, а теперь они для меня как нежить. Хотя женщины были еще в самом сексапильном возрасте и могли найти себе и спутника жизни. Я жалел их, но это к слову. Зато мы теперь на законных основаниях могли вселяться в комнату в коммунальной квартире. Кларина сказала, что пока эта комната будет моей мастерской, куда я могу уезжать на нужное мне время для работы. А она с дочкой пока поживет в нашей съемной, а там посмотрим.

* * *

Новое жилье я поехал смотреть, разумеется, один, Кларина оставалась в съемной квартире с двухлетней дочкой. Сказала, что обустроить комнату она придет попозже. Я немного знал этот микрорайон, мой бывший профессорский дом, откуда я ушел, который оставил, располагался не более чем в двух кварталах от этой восьмиэтажки, куда мы попали в коммуналку. Давно я заметил, что жизнь водит человека кругами, если он не рвет категорически со своим пространством, меняя столицу на Север или на другую столицу в другой державе. Восьмиэтажный дом был кирпичный, не панельный, и это нас очень устраивало. Трамвайная остановка была перед небольшим разбросом невысоких деревьев, сквозь которые вела протоптанная тропка к восьмиэтажному дому. Вечером дорожка казалась немного опасной: по тротуару вдоль дома с магазином, стоявшим перпендикулярно к восьмиэтажке, сидели на ступеньках магазина очевидные злостные алкаши с мятыми в порезах лицах. Мой пятиэтажный профессорский тоже был кирпичный. Конечно, этот дом с коммунальными квартирами строился на скорую руку. Только потом мы увидели, что стены кривые, что около стены время от времени образуются провалы в асфальте. Просто дом в 1958 году на скорую руку строили для рабочих и obsługi космического завода, строили еще по сталинским лекалам

и кирпичный. Но почва была болотистой, некоторые даже говорили, что просто на болоте, отсюда частое зловоние, которое поднималось вверх по подъезду. От него до моего бывшего пятиэтажного можно было дойти пешком напрямую минут за сорок насквозь через телебашню, ВДНХ, кусты начала Ботанического сада, где когда-то работала моя мама. Потом дворами к Дмитровскому шоссе, там и дом. Можно было и по-другому, часа за полтора длинной дорогой выйти в Тимирязевский парк. Тот самый, который назывался раньше Петровским.

Как говорит путеводитель, начиналась история этого уголка с небольшой пустоши на речке Жабенке (теперь в коллекторе), притоке Лихоборки, принадлежавшей князьям Шуйским, затем Прозоровским, а затем перешедшей в собственность родственников царя Петра Великого — Нарышкиных. Бабка Петра, Анна Леонтьевна, пожертвовала в 1683 году десять четвертей земли под строительство храма во имя Святых апостолов Петра и Павла, небесных покровителей будущего русского императора. Отсюда и пошло название Петровское. В царствование Анны Иоанновны село досталось в приданое двоюродной племяннице Петра Екатерине Ивановне, выданной замуж за графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Так получилось Петровско-Разумовское. При Разумовском крестьяне построили плотину на реке Жабне, и образовался живописный каскад прудов, известных сегодня под названием Академических или Больших Садовых, где был выкопан крепостными за месяц по приказу графа Разумовского к приезду Екатерины Великой пруд в форме буквы Е. Там мы часто плавали, катались на лодках и именно там, в гроте на берегу пруда Нечаев застрелил студента Иванова, потом помощники привязали камень на шею трупа и утопили. Когда раз от разу пруд чистили, то вытаскивали трупы, облепленные рачками, водорослями и слизнями.

Во время войны отец служил в авиации дальнего действия на Урале, под Челябинском, откуда писал маме стихи. Он их так записал для меня:

«Недалеко от Челябинска протекала маленькая речушка Миасс, а почти рядом с домом Тани на окраине Москвы шумела маленькая да порожистая Лихоборка. Мало кто из москвичей знал о ее существовании, а между тем она огибала знаменитый Тимирязевский парк.

Война эта —
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
все и везде.
Я льюсь
по отрогам Урала
И если моя Миасс,
твоя судьба Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Что б ни были
и где б,
Но только бы
Землю России,
реки наших судеб
иссохшую, оросили.

Мне в детстве казалось, что это моя задача — орошать иссохшую землю России! Глупый был!»

Но продолжу речную историю, выписка гидрографической карты: «**Жабенка** (*Жабина, Жабовка, Жабня*) — река на севере Москвы, правый приток Лихоборки. Длина — 6,5 км. Площадь бассейна — около 7 км². Река брала свое начало из источников в районе Коптевского бульвара, протекала по сильно заболоченной местности — Жабенскому лугу, ныне занятому полями Академии им. Тимирязева. В настоящее время протекает в подземном коллекторе и впадает в Лихоборку».

Трамвай от «Первомайского» метро почти до ВДНХ шел около часа. Был уже вечер, когда я сошел с трамвая и пошел сквозь темные кусты к дому. Я обошел вокруг дома, выстроенного в форме буквы П. Кроме подъездов к жилым квартирам на первом этаже, с улицы был вход в большой мебельный магазин, чуть дальше располагалась прокуратура. Я прошелся вокруг, увидел, что через дорогу был продуктовый магазин, на торце которого виднелась надпись, которую я потом сфотографировал: «Ребята, мы ошиблись планетой».

Подъезд дома, где на восьмом этаже находилась интересующая меня квартира, был нараспашку. Внизу на подоконнике первого этажа сидело несколько мужиков, что-то пили. Думаю, пиво, поскольку матерные слова были не агрессивны. Перед лифтом куча человеческого говна. Запах их не смущал. Ну и приняхались к болотным испарениям. Да и никто из жильцов, видимо, тоже об этой куче не беспокоился. Двери лифта раскрывались, входившие перешагивали кучу и ехали себе наверх. Так и мне пришлось поступить. Хотя чувство неприязни к этому нашему новому жилищу как-то сразу охватило меня. На этаже было четыре квартиры, по две — слева и справа. Около двери в ту квартиру, где была благоприобретенная наша комната, находилась лестница, что вела мимо лифта на чердак.

Я позвонил в квартиру. Впустил меня сосед-пенсионер, латыш, как я уже знал, с коротко стриженными седыми волосами, большим носом, так сказать, картофельного типа, небольшими глазами, жесткими чертами лица не то в шрамах, не то в глубоких морщинах, которые появляются от нелегкой жизни. Он приветствовал словами: «Располагайтесь» — и скрылся в своей угловой комнате. Коридор был застелен зеленым линолеумом, счетчики электричества висели над каждой дверью. Я зашел в туалет, потом в ванную комнату.

В ванной комнате стояла обшарпанная ванна со сбитой местами эмалью, над умывальником зеркало было без рамки, с проржавевшими трещинками. Из-за зеркала топорщились тараканьи усы, стада (буквально — стада) тараканов бегали по стенке. Исчезали в невидимые глазу щели. Ремонт потом показал, что стены неровные. В комнате, которая нам досталась, сидела на диване блондинка, миловидная, но плебейского пошиба девица с темно-зелеными глазами суки. Она посмотрела на меня как на кобеля, чувствовалось, что все у нее намокло, когда увидела здорового мужика, интересующегося комнатой, где она жила. Она не знала, что я женат да еще сюда и с женой въезжаю. Она встала мне навстречу. Заметно было, что груди ее напряглись, а между губ показалась капелька слюны. Простая физиологическая реакция. Ну и тайная надежда, что если я одинокий, то и ее могу оставить здесь, если она понравится.

Но я оказался жесток, от чая отказался, а спросил ее, сколько времени ей надо на сборы, чтобы съехать. Я понимал, что жестоко поступаю, но вариантов не было. Назавтра собиралась приехать Кларина. Она сразу как-то согнулась, глаза стали жалкие, забормотала, что утром уедет к подруге. Стало понятно, что она тоже без жилья. Я покраснел от стыда, хотя вроде нечего было стыдиться, вышел, заглянул к соседу, чтобы представиться: «Мы теперь будем здесь жить, жена, я и дочка». Но

он ответил, глядя мимо меня: «Главное, чтобы нам мирно жить. Холодильник у нас общий, на кухне стоит. В холодильнике у меня нижняя полка, соседи заняли верхнюю полку, значит, ваша — средняя. И три шкафчика висят. Люба сейчас свои чашки и тарелки заберет, их немного, она хорошая женщина, вас не обеспокоит. Будет этот шкафчик вашим. Ее прежний жилец сюда пустил пожить. Может, и сам с ней жил. Я свечку не держал». Видимо, был он и вправду терпимый, нескандальный человек. Я невольно посмотрел на маленькую книжную полку рядом с его койкой и на корешки книг на шкафу. Было много испанских писателей, в том числе классические тексты вроде «Ласарильо из Тормеса», и книги об испанской войне, даже Хемингуэя «По ком звонит колокол». Дед махнул на нее рукой: «Интересная книга, но много неправды. Получается у него, что республиканцы франкистов в сортирах живьем топили. А это лжа». Вообще, как я потом понял, несмотря на лагерь, он хранил в себе все советские установки. Я вернулся в свою уже комнату.

Светловолосая и зеленоглазая Люба сложила небольшой солдатский чемоданчик и рюкзак защитного цвета и сказала: «Все, я готова. Но могу ли я сегодня еще здесь переночевать? До подружки не могу дозвониться». Я кивнул: «Конечно, я сейчас уезжаю. Завтра с женой приедем к вечеру. Не сердитесь, что так получилось. Вы откуда сами?» Она сглотнула слюну: «Из Иванова, город ткачих. К нам мужики за сладким ездят, мы для них десерт. Приехала сама, думала здесь мужа найти. Спать со мной спят, хвалят, но никто не хочет жениться. Словно в болото попала, уже не выбраться. А зачем назад ехать? Все то же самое. Приезжают, трахают, всем нравлюсь, вот и все». И вдруг заплакала, сев на тахту. «Словно кто заколдовал. До вас мужчина в этой комнате жил, говорил, что дом на болоте стоит, что я такая соблазнительная кикимора, что пока дом стоит тут, и мы будем вместе. А жена позвала, он в момент и уехал». От жалости у меня челюсти тревожно свело, но я понимал, что никто на ней не женится. Почему — не знаю. Но так чувствовалось. Я пробормотал: «Вы же знаете, мужчина всегда старается избежать брака. Один вариант — любовь. Полюбите вы, полюбит он — и женитесь». Она вытерла глаза и сказала: «Тахта, стол и кресло не мои. Они здесь так и были. Вы их за так получаете».

И я вернулся в нашу съёмную квартиру. Кларина взглянула на меня тревожно: «Ну и что? Очень грязно и противно?» Я кивнул: «Очень. Но ты же у меня ясная и чистая, так что все будет чисто. Не сомневаюсь. Хотя даже для самых ловких женских рук стада тараканов непобедимы». Она поцеловала меня: «Справимся. Против тараканов одно средство — чистота. Вечером поеду посмотреть. С дочкой мама посидит». Мы приехали. От Любы не осталось почти никаких следов. Правда, она забыла в столе маленькие маникюрные ножницы. Куда их отвезти, я не знал. С тех пор они почти тридцать лет верно мне служат. И напоминают печальную девушку.

Наша комната была посередине квартиры. Напротив кухни была большая длинная комната соседей, которых мы пока не видели. Мы поставили в угол пианино, которое теща хранила временно в подвале у соседки (на нем когда-то играла маленькая Кларина), перевезли маленький шкаф, пару книжных полок. Я расставил самые нужные книги, поставил на стол неизменную пишущую машинку «Москва» (мы были так бедны, что я собирал несколько месяцев деньги на ее покупку). Кларина представилась соседу, и он встал из кресла и почти куртуазно склонился перед ней, поднес руку к губам и назвался: «Эрнест Яковлевич Даугул».

Сразу в голове мелькнуло: «Латыш. Европейец!» Жена ответила: «Кларина. А его зовут Кантор».

«По фамилии зовешь? Наши женатые партийцы в Испании тоже друг друга называли по фамилиям, но добавляли слово товарищ: товарищ Петров, товарищ Кан-

тор, товарищ Залка, американский товарищ Джордан. А чтобы так просто — не слышал». Кларина смутилась: «Так уж у нас сложилось. А потом и пример литературный есть — так жена называла Пушкина». Латыш проявил неожиданную для меня литературную грамотность: «Это из-за которой его убили». Кларина вспыхнула, желая возразить. Но у деда был собственный опыт: «Из-за женщин мужчины всегда погибают. Дай бог, чтобы вас это миновало». Кларина ответила: «Если от меня зависит, то минует». Эрнест сказал: «Надо верить, тогда получится, но вам еще с соседями надо будет познакомиться. Скоро приедут. Семья — жена, муж и дочка с сыном. Хозяйка она, Инга Леонтьевна, она в учреждении работает, которое квартиры распределяет. Очень на вашу комнату надеялись, не ожидали, что кто-то вдруг на комнату в коммуналке позарится. Надеялись меня отселить и получить всю квартиру». Говорил он это как о чем обыденном, как человек, привыкший, что его, как вещь, переставляют с места на место. «Теперь, может, вас попробуют куда-то отселить, найдут двухкомнатную квартиру, так что мы, может, и недолго будем общаться. Она начальница тут, распределяет помещения, откуда нас отправят под землю после некоторого промедления». Он усмехнулся: «Да я это шучу, в Испании командир нашей части, испанец, так шутил. Он по-русски говорил с акцентом, но про смерть любил повторять, что жизнь есть сон и неважно, в каком жилище ты спишь. Главное жилище все равно под землей». И добавил: «Я вот думаю, что отшельники не случайно в пещерах под землей жили. Ближе к окончательному существованию. У испанцев это сплошь да рядом — всякие подземелья». Зато на окне у него стояли два больших застекленных террариума с большими хвостатыми агамами. Такие маленькие ящеры. «Я их тараканами кормлю, не пропадать же добру. Думаю, отшельники тоже с такой живностью существовали». Я невольно еще раз оглядел комнату в поисках иконостаса или хотя бы какой-либо иконы. И мое удивление — на шкафу прислоненная к стенке икона по картине Эль Греко, очень плохо исполненная, но глаза у Христа были совсем измученные. «А ведь жена у вас небось православной была?» — спросила Кларина, на что дед угрюмо ответил: «Да не знаю я ее веры. Иконостас висел у нее в углу, но знаю, что награбленное и краденое она у себя прятала. Братья ее были знаменитые налетчики, — он помрачнел и бросил, отвернувшись к стенке: — Что-то я с вами разболтался. Идите себе». Голос был раздосадованный.

И мы пошли на трамвай. Пока мы смотрели квартиру, на улице лил дождь. Стоял октябрь. Теперь накрапывало немножко, отдельные капли падали на волосы, на шею. С асфальта мы перешли на раскисшую от дождя тропинку, которая вела к остановке. Еще в подъезде я показал Кларине грязь и уже кем-то размазанную кучу говна. Поджав губы, она сказала, посмотрев на меня каким-то боковым взглядом: «Но ты же мужчина, сделай что-нибудь! Комнату я нам достала, отобрав ее у мамы, которая двадцать лет строила кооператив. Хочешь на все готовое?» Ее голос непривычно озлел. Я растерялся и промолчал. Этот тон был не из нашей жизни. Мы перешли трамвайную линию, в растерянности от ее тона я аж споткнулся о рельс. По счастью, на левую ногу. В трамвае ехали молча. Классическая семейная ссора из ничего. И сразу копились злые слова, что можем и разойтись, если я тебя раздражаю. Но куда расходиться? К подземному миру, переходу с квартиры на квартиру, без точной вписанности в общепринятость, я не привык, да и Кларина тоже. И я сказал те слова, которые иногда произносил в раздраженном состоянии духа: «Давай лучше разведемся!». Она улынулась вдруг нежно и повторила, что всегда повторяла: «Никогда, не дождешься!». Ответить на это невозможно. Разве что раздуть скандал из ничего!.. Но, как многие мужчины, я этого не

умел, нужна была подпитка со стороны женщины, а ее не было. И все же до подъезда шли молча.

На кухне Кларины налила чай и предложила обсудить мою жизнь в коммунальной комнате, где она предложила устроить мне мастерскую. Сказала, что раз в два дня будет посылать мне еду. Я, разумеется, оттаял.

Утро провел в редакции, которая за меня переживала, но ничем мне с жильем помочь не могла. Все звонки и письма в издательство, от которого зависели наши материальные блага, были без проку: тот, за кого просили, то есть я, — беспартийный и родственников среди начальства нет.

ЕЩЕ СОСЕДИ

С помощью друга Коли Голуба, который про себя говорил всегда, что он Голуб с твердым знаком на конце, перевезли на пикапе два рюкзака книг и пару ящиков с постельным бельем и с верхней одеждой. Мы втащили вдвоем односторчатый платяной шкаф, установили внутри перекладину для вешалок, развесили на нее из ящиков плащи. Рюкзаки сложили под пианино, но самые нужные книги я положил на крышку пианино. Письменный стол поставили перед окном, также три стула, унесенных мною с работы (начальство разрешило), сели за стол и выпили по рюмке «за новоселье». На стенку над тахтой повесил фото деда, с которым как говорили родственники, рифмовалась моя судьба. Дед с даром прорицателя на этом фото выглядел просто книжным мудрецом. Фото было со старинным коричневатым отливом бумаги. Это уже было московское фото, до ареста, точнее, накануне ареста.

В углу лежали груды бумаг, какие-то типографские счета, бухгалтерские незаполненные книги, оставшиеся от прежнего хозяина, толстая рукопись какого-то отчета. А также карандашный рисунок толстой жабы с короной на голове. Я вспомнил, что у нас в сказках Царевна-лягушка, а у немцев — Жаб-королевич, так себя и Адик называл.

Внизу в полуподвале принимали макулатуру. Тогда за двадцать кг макулатуры ты получал талон и мог купить специально под этот проект дефицитную книгу — «Королеву Марго» или «Женщину в белом». Поскольку в моей новой комнате оказалось много бухгалтерских и канцелярских книг, от них надо было избавиться. И мы стащили их в полуподвал, получили талоны и тут же купили по книге Коллинза.

Когда я приехал на следующий день к обеду в нашу коммуналку с банкой супа и завернутыми в бумагу котлетами, то уже в прихожей я понял, что, кроме Эрнеста, в квартире появились еще люди. С кухни пахло свежеприготовленной едой, мальчик из комнаты кричал: «Ма, ну скоро?! Пора жрать!» В ответ нежный, но сильный женский голос: «Потерпи, Иржек! Две минуты!» Удивившись чешскому имени, я тихо отпер свою дверь. Разумеется, в коммуналке у каждой двери был свой замок. Вошел, разложил на столе блокноты рядом с пишущей машинкой. Потом, стараясь не шуметь (пока еще чужой в этой коммуналке), выполз на кухню — разогреть в кастрюльке суп. Хоть чего-то похавать перед санием. Разогрев на газовой плите в маленькой кастрюльке и перелив в тарелку суп, я понес ее в свою комнату. На кухне никто из соседей не ел, это было пространство для готовки пищи, но не для еды. Перед дверью соседей я невольно притормозил, услышав голос молодого мужа — уже не мальчика и не юноши, но говорившего отчетливо, будто печатал слова: «Ингуша, не волнуйся, я его закопаю, да так, что он из этой ямы не выберется!» Женский голос был резок: «Ты, Георгий,

все только обещаешь!» В ответ с внятной даже сквозь дверь отчетливой усмешкой: «Но ведь всегда делаю». Я прошел к себе. Проглотил суп, но не писалось. Телефон был общий, в коридоре, вышел, позвонил Кларине на службу: «Да, милый, как пишется?» Вздохнув, сумрачно ответил: «Никак не пишется. Не слажу я с этой книгой». В ответ услышал голос Марины Мнишек: «Мы так не договаривались. Я за московского царевича замуж шла, а не за бездельника». И вдруг мне стало стыдно: хотел ведь мастерскую, чтобы работать, об этом и первой жене все время твердил, а та боялась, что баб водить буду. А Кларина полностью и искренно приняла мое стремление, а я чего-то кобенюсь. «Прости, — сказал я, — я, конечно, допишу. И скоро». Сел за стул и лихорадочно начал стучать по клавишам. Вначале текст (я это видел) был никуда не годен, среднего качества черновик, который заслуживал только вычеркивания. Но упорно печатал, вытаскивая из машинки лист за листом. И примерно с шестой страницы стало очевидно, что текст пошел! С разгону я напечатал еще три страницы. Слова еще давались с трудом, но уже давались.

И тут в дверь постучали. Я открыл, в дверях стояла длиннотелая, но длинноногая, с полными бедрами, хотя не очень большой грудью. Глаза были темные, украинского типа, с веснушками вокруг глаз. Губы накрашены, свободная юбка, блузка, поверх блузки цветастый платок: «Ну что, сосед, пустишь, не выгонишь?», как-то сразу установив форму общения «на ты». При этом женщина привлекательная, знавшая, что она привлекательна. Я кивнул, она вошла: «Если не побрезгуете присесть на тахту, другого места предложить не могу». Она присела, хихикнув: «Тахта не самое плохое место для женщины!» Смутьившись, я спросил, чем могу помочь. Она снова ухмыльнулась: «Пока и сама не знаю. Мы были уверены, что здесь одинокая женщина, поэтому и взяли комнату в этой квартире. Одинокую женщину отселить нетрудно, а оказалось, что она даже не прописана, просто у хахалы своего подживала. Полная нежить. Так мы непрописанных называем. Мы думали, что найдем ей мужика с отдельной квартирой, а Эрнеста Яковлевича тоже бы уговорили. Уж больно хороша трехкомнатная квартира, да еще и в кирпичном доме. Впрочем, и тебе можем найти неплохую женщину в двушке». Я покачал головой: «Не выйдет. Я женат, дочке два года». Она кивнула: «Да, не рассчитала этого. Понятно. Придется план переделывать. Все равно надо познакомиться. Завтра воскресенье, приглашаю тебя и Эрнеста Яковлевича на воскресный ужин. Приводи жену». — «Вряд ли она сможет», — ответил я. «Ну, тогда я для тебя симпатичную подругу приведу. Эрнесту женский пол уже ни к чему. Меня, кстати, Инга зовут». — «Владимир, — назвалса я. — Чего принести? Вино? Водку? Конфет? Торт?» Она отрицательно покачала головой: «Не утруждайся. У нас все есть. И выпить, и закусить. Разве что цветы хозяйке», — она потрепала меня по плечу и вышла. А я задумался на жилищную тему, о чем раньше не думал специально почти никогда. Просто несло меня мимо этих проблем. Когда я оставлял прежней семье квартиру, в которой вырос, исходя из ощущения и книжного понимания, что с милой рай и в шалаше. Даже в землянке. Оказалось, что шалаш требует усилий, чтобы в нем удержаться. А на этот раз надо было как-то предупредить Кларину, что воскресенье они с дочкой проведут без меня. Но и она волновалась, видимо: эмпатия у нас была сильная. Они с Сашкой дошли до телефона-автомата и позвонили. Я рассказал о визите Инги. Говорил, разумеется, негромко и осторожно. «Да, — сказала Кларина, — по-хорошему мне бы стоило приехать. Но мама меня подменить не может завтра. Думаю, ты сам поймешь все. И разрулишь, как надо!»

Часам к шести я оделся по своей бедности, как мог, приличнее: джинсы, счел я, всегда джинсы, даже потертые. Да потертые и моднее выглядели, синюю хлопковую рубашку в белую клеточку навыпуск тоже я придумал как свой гардероб.

Не чиновник все же и не бизнесмен, а профессор и писатель. В руках цветок лилии. Я решил, что так изящнее. У меня было странное чувство, что вхожу в чужой мир, как Одиссей в пространство Аида. Люди не люди, а тени... Почему? Потом только понял, что в глазах не видел огня разума, только искры хитрости. Тут к двери и сосед подошел. Эрнест Яковлевич был в сером сюртуке, светло-синей рубашке, галстук бабочкой, волосы набриолинены. «Чувствуешь себя дураком в такой одежде», — шепнул Эрнест. И мы постучали. Нас усадили за длинный стол, стоявший посередине комнаты. Стол и впрямь ломился от разных яств и выпивки. Георгий в белой рубашке апаш встал с бутылкой популярной тогда водки «Петровская», произнеся очень отчетливо, словно механическим голосом: «Надеюсь, мужчины водку пьют?» И, не дожидаясь ответа, разлил жидкость в рюмки. «А закусить вот рыбка, икра, — говорила Инга. — Эрнест Яковлевич, вам ведь можно водку?» Он застенчиво улыбнулся: «Только ее и можно, так мне врач в лагере сказал. У меня там на десятом году язва открылась. А со мной в бараке был профессор-гастроэнтеролог, — я немного удивился, что ему известно такое слово, — он сказал мне, что, мол, когда выйду, лекарств не достану. А вот чистый спирт можно, а еще мед хороший. Натощак сто граммов принять и заесть ложкой меда, все пройдет. Через два месяца и прошло. А его не дождался, чтобы спасибо сказать. Так в лагере и помер, лесоповал не выдержал, а я по слесарному делу выжил. Хорошие слесаря везде нужны». Мы выпили. «Чтобы нам тоже в здоровье пошло!» — сказал Георгий. «А за что вы в лагерь попали, — спросил я, — знакомиться так знакомиться». Он посмотрел на меня странно: «За дело, как наш кум говорил. За испанскую войну. За то, что командиры наши ее просрали. Их расстреляли, а нас по лагерям рассовали. Там, Кантор, и таких, как ты, тоже вроде много было: и профессора, и писатели». — «Почему Кантор?» — спросила Инга, — он же Владимир». Эрнест пожал плечами: «Так его жена зовет». Георгий сказал: «Главное, чтобы человек был хороший. Приличные люди всюду есть. Среди писателей тоже, хоть и говорят, что б...ы они изрядные», — и захохотал. Инга поправила: «Владимир еще и профессор, а что касается нижнего мужского этажа у него, сейчас посмотрим. Вон звонок в дверь. Это подружка Валька, которую я тебе обещала. Зацени».

Она вышла к входной двери и через две минуты ввела весьма полногрудую женщину лет за тридцать. Лицо белесое, глаза даже без искорок, брови нарисованы, зато ложбинки груди были видны, показывая ее весьма изрядные размеры. «Прошу любить и жаловать, это Валя, моя заместительница, — сказала Инга, рисуя нежно рукой контуры ее фигуры. — А если бы вы, мужики, видели ее бедра, совсем бы ошалели». Валя всем улыбалась. Но фланировала в мою сторону, видимо получив задание от начальницы. Ее рядом со мной и посадили. «Чего налить? — спросил Георгий, держа в руках бутылку „Петровской“. — Или коньячку?» Она заколебалась на минуту, но закуска все водочная была. «Давай уж водки!» Инга снова встала: «За встречу и за знакомство! Чтобы оно оказалось удачным и длительным». Потянулись чокаться. Приподнимаясь, Валя прижалась своим бедром к моему бедру, почти присела на него. Бедро ее и впрямь оказалось мягким, обильным, но при этом не жидким и не дряблым. Проглотив рюмку, я невольно свободной рукой обхватил под столом ее бедра. Она не противилась.

Мужская подлость удивительна! Любимая Кларина была в этот момент словно вытеснена. Это как бы не было изменой, поскольку Валю же я не любил, просто захотел ее на минуту. Работал какой-то подвальный этаж, желание попасть в пещеру любви, хоть бы она под землей была. Я положил руку на ее бедра, нащупывая пространство между ними. Мягко, но уверенно проникая между раздававшимися под ладонью женскими ногами. «Надо еще выпить, — слегка охрипшим голосом

произнесла Валя и протянула рюмку, приказав: — Коньяк сейчас хочу». Эрнест опустил глаза, словно не желая смотреть на эти игры. «Надо бы покурить, — сказал я, приподнимаясь, — только сигареты в моей комнате. Кто со мной?»

Валя подняла, как детским саду, руку: «Я!» И мы покинули компанию.

Через минуту мы были уже в моей комнате, в голове шумело. Я продолжал обнимать ее бедра, возбуждение нарастало от предвкушения простонародного секса, ни разу мной не испытанного. Но она вывернулась из руки и сказала: «Сначала покурим. У тебя какие?..» Я пожал плечами: «Обычные. „Ява“». Я снял с пианино пачку сигарет, пепельницу, спички. Мы закурили. «У тебя что, зажигалки нет? Подарю потом». Я кивнул: «Да обойдусь. От зажигалки сигарета не становится лучше». Я почувствовал вдруг, что возбуждение мое ослабевает. Тогда я быстро обнял ее за плечи одной рукой, а другой принялся расстегивать блузку, пока не освободил ее груди. Она смотрела на меня с покорностью овцы. Я склонился, держа груди в руках и целуя соски. Мелькнула мысль, что вдруг откроется дверь и заглянет Инга. Но она с очевидностью предоставляла нам оперативный простор. Я потянул Валью к тахте, на которой, понятное дело, не одно соитие происходило. Она легко поддалась, и вот мы уже сидели, целуясь, и рука моя уже была под ее платьем. Рука уже нащупала мохнатый бугорок и скользнула во влажную щель. И снова странное ощущение, что это как совокупление с тенью, которую я уже завтра не увижу, а то и не узнаю. «Может, простыню расстелем? — спросил я. — Ладно?» Она кивнула, уткнувшись лицом в плечо: «Я бы сама сделала, только не знаю, где у тебя что». Я ткнул в сторону сундука. Она поднялась, открыла крышку, достала простыню и одеяло. И вот уже вполне нагие мы лежали на тахте. «Какие они доступные!» — тупо подумал я, вспомнив первую жену. Валька напоминала своей светлой, почти белесой кожей бесцветную полную рыбу из подземной реки. «А у меня две комнаты», — шепнула она.

И вдруг это меня как-то остановило. Я, словно проститутка, за какие-то блага сплю с бабой. Она уже шарилась у меня между ног, продолжая бормотать: «Я сладкая. Женишься на мне?» И потянулась лицом к моему важнейшему напряженному органу. На этом все и кончилось. Я решительно вылез из постели, отодвинув эту расслабленную уже женщину. И сказал: «Про нас уже небось бог знает что думают! Надо бы вернуться». Но она отчаянно замотала головой: «Инга все знает». Тут меня совсем повело. «Пойдем, лучше другое место поищем. Может, в мастерской у моего приятеля...» Она продолжала лежать, вопросительно глядя на меня. Я быстро натянул трусы и джинсы, рубашку навыпуск: «Одевайся, я пока за стол пойду. Мол, закурили и разошлись...». Инга посмотрела на меня с интересом: «Можно поздравить с успехом?» — «Инга, ну ты что!.. — отчетливо-укоризненно воскликнул Георгий. — Совсем смутила соседа!» — «Все в порядке, — ответил я, — все довольны». Отворилась дверь, вошла одетая, но немного небрежно Валя. Как бы демонстрируя, что была раздета. Все заулыбались, Инга погладила ее по плечу.

А мне шепнула: «Самая большая обида для бабы, когда ты ее раздел, но не помел. Другая и прирезала бы за это. Мы не в Европе, на все способны». А я вдруг вспомнил, что рассказывала мне немецкая приятельница, как одна из немок, несколько лет бывшая в разводе, искала себе не мужа, мужчину. В кабаке, в немецком Кнейре, познакомилась с мужиком средних лет, прилично одетым. В итоге она увела его к себе домой. Раздеть-то он ее раздел, а сделать ничего не смог. Она стала насмешничать. И довела его: он кухонным ножом перерезал ей горло и ушел. Потом его поймали. Я вспомнил и подумал, что в Европе нежити тоже хватает. И что нежить — это те, кто погружен в проблемы «материально-телесного низа», а потому, если вспомнить античность, не переживут космический взрыв, после которого спермоло-

гос возродит людей духа. Не просто сперма, а именно СПЕРМОЛОГОС, сперматический логос — идеальное начало, как считали стоики. Логос — вот путь к преодолению небытия.

ПРЫЖОК ИЗ ОКНА

Через пару дней Инга перехватила меня на кухне, когда я кипятил чайник. Она присела около моей тумбочки: «Что, не понравилась Валька? Ты не думай, я без обиды. На вкус, на цвет товарища нет. Особенно в делах интимных. Я бы тебе показала класс, но муж за стеной. Поэтому поговорим по делу. О квартире. Ты думал как отдельную получить. Ты с женой расписался уже после того, как она комнату получила?» Я кивнул. Она усмехнулась: «Не думаю, что вас кто-то научил. Но новичкам везет. Теперь в коммунальной комнате образовалась новая семья, которая имеет право на улучшение жилплощади». Я ответил, что мы подали заявление, как только я сюда прописался, на кооператив от Союза журналистов. Там есть две свободные квартиры, однако на них непробиваемая очередь. В тот момент у меня был первый (добавлю — последний) сравнительно большой гонорар за книгу прозы («Историческая справка»), кажется, двенадцать тысяч. Как я давно решил, треть моих гонораров сверх бюджетной зарплаты я отдавал сыну, остальное на нужды новой семьи. Так что от двенадцати тысяч гонорара осталось восемь. Как раз первый взнос на трехкомнатный кооператив. Кларина работала, но ее зарплата была примерно равна моей, то есть тысяч семь. Председателем кооператива был отставной генерал, которому мы почему-то понравились, и он пообещал, что очередная трехкомнатная наша. Но в конечном счете решал не он, что и сказала мне Инга. И спросила: «Извини, деньги на взятку у тебя есть?» — «Генералу?» — удивился я. «При чем здесь генерал? Он просто фигура, а решают другие люди. Так есть или нет?» У меня оставалась заначка в пятьсот рублей, что я Инге и сказал. Она даже не рассмеялась, просто усмехнулась. «Интересно даже попробовать. Я тебя к нужному человеку попробую без очереди записать. Завтра можешь? То есть народу все равно много будет, *сплошная нежить, я тебе говорила, что мы так зовем тех, кто без жилья*. Но не месяц же ждать. И не два. *На нежить ты не тянешь, глаз смышленный*. Пойдешь без очереди». Куда было деваться? Я кивнул — хоть посмотреть, как работает этот подземный мир. «Ты только костюм одень, в джинсах не ходи». С костюмом было у меня слабовато. Мы с Клариной жили по правилам официального, настоящего, записанного в законах, списанных у какого-нибудь Хаммурапи, с добавлением ленинских лозунгов, которые заменили лозунги Хаммурапи, но мы об этом не знали. И жили по законам нереального, выморочного мира. По которым и во времена Хаммурапи не жили. То есть почти без денег. Ибо люди, если не были рабами, жили всегда так, как жили наши соседи. А мы ходили на работу, что-то писали, что никому из окружающих нас людей было не нужно. Читали никому особо не нужные лекции. Бледная поросль интеллигенции, выросшая случайно в «провале небытия», на кладбищенском пустыре, где в могилах лежали те, кто тоже верил «в высокое и прекрасное», и оказалась среди сытой и полнокровной — с машинами, дачами, квартирами — нежити. Пожалуй, теперь слово я употребил осмысленно. Самое-то интересное, что нежить была почти как люди — и чувства испытывали, и сексом занимались. И деток своих лелеяли. Но слово «нежить» я не сразу употребил по отношению к соседям и другим как бы людям. Был ли нежитью встреченный нами с отцом на профессорском кладбище?.. Тогда я об этом не думал. А может, мы все нежить, раз

существуем в преисподней небытия? Но всегда хочется думать, что это не к тебе относится. Ведь жили мы в пространстве классической литературы, там тоже много страшного описывалось, но волшебство литературы, что она создает все равно другой мир, что описанное тебя не коснется.

Короче, поехал я на следующий день в дом, где распределяли жилищные блага. Особенно я ни на что не рассчитывал, но подленькая мысль: а вдруг, все же по некоему благу иду. Я поднялся на второй этаж, где перед кабинетом с обитой дерматином дверью сидело на стульях человек тридцать. Костюмчик мой, конечно, не блистал изяществом, но все же — костюм. Впрочем, и другие посетители были одеты средне, в мятых костюмах, глаза тревожные, в руках папки с бумагами. У меня — портфель, из которого я достал записку Инги и передал ее выглянувшей из важного кабинета секретарше для начальника. Минут через пять она выглянула, поманила меня рукой и сказала, что через пять минут меня позовут. И тут я понял, что меня окружает нежить — с такой ненавистью посетители на меня посмотрели. Но тут мне потребовалось по малой нужде, и лучше было сходить сейчас по-быстрому, чтобы не ежиться при разговоре с начальником. Дверь в мужской туалет была в конце коридора и почему-то не закрывалась. Я взял портфель и зашел в нужное помещение, там оказалась всего одна кабинка, писсуара не было. Чего-то я вдруг сынтеллигентничал и захлопнул за собой дверь. Но, справив нужду, я дернул ручку двери и тут понял, почему она не закрывалась. Открыть ее было изнутри невозможно. Я постучался, ни отзвука, нежить молчала, я был соперник, тогда я крикнул: «Помогите, отоприте кто-нибудь». Некто подошел к двери, подергал за ручку и сказал довольным басом, обращаясь к очереди: «Нет, ему отсюда до вечера не выбраться, пока уборщица не придет». И я понял, что довольный бас прав. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Второй этаж, в общем, не очень высоко. Асфальт внизу был старый, разбитый, в вымоинах трава. Но открывается ли окно? Я подергал шпингалет. Он открылся, окно распахнулось, я вскарабкался на подоконник, все же спортсменом я не был. Надо было поставить себя в безвыходное положение. И я бросил портфель вниз. Теперь не оставлять же его внизу. И, стараясь не раздумывать долго, я спрыгнул, спружинив на носках, чтобы не отшибить пятки. Отряхнулся, поднял портфель и прошел снова в парадный подъезд. Поднялся на второй этаж, *нежить ошалела*. Кто-то бросился к туалетной двери, но она была заперта. Спрашивать, как я сюда снова через входную дверь вошел, вошел как ни в чем не бывало, что-то они не решились. «Ну, Володя, ты даешь! Чувствуется, что сын летчика! — сказал неизвестно откуда взявшийся Адик, парень из нашего старого двора. — Помнишь, как я в детском саду тебя защитил?» Он тогда подошел к детсадовскому забору, крутя в руке веревку вроде пращи, в которой был зажат камень. «Вовка, кто тебя здесь обижает?» Вопрос был провокаторский, меня никто не обижал, но на провокацию ответил мой лучший друг Андрей Гафнер, крикнув «Я!» и ударив пятерней меня по лицу. Я ответил автоматически. Это был мой первый боксерский удар — кулаком в челюсть. Друг упал, а девчонки закричали: «Оксана Петровна, Кантор Гафнера убил». Никого не убил, конечно, но на два часа меня поставили в угол «в группе». А Адик потом во дворе хвастался: «Когда тебя увели, я их всех побил. Я решил, что отныне всегда буду с тобой в трудные минуты, как черный человек. Это такой человек, который друзьям помогает».

Ни на кого не глядя, я молча вошел в кабинет, сказав сквозь зубы: «От Инги Леонтьевны». Очевидно, так и бабушка военные бумаги генералам передала, никто и спросить не посмел, откуда она взялась и где их прятала. Какая-то сила бабушкиного ведьмовства во мне вдруг проснулась. Как и она, бумаги-то я передал, но

военным нужны были карты и планы, а этому бесцветному человеку с белесыми ресницами, похожему на большую моль, нужно было другое — не записка от Инги, а мое приложение к записке. Но, может, черный человек поможет... Я вынул из портфеля конверт и тихо пододвинул начальнику. Он даже не взглянул: «Нет, нет, это не мне, этого мне не надо. Впрочем, положите на стол, я разберусь. Не волнуйтесь, я займусь вашим делом. Инге Леонтьевне от меня горячий привет».

Я вышел, усмехаясь, вспоминая, как в советское еще время мама поехала отдыхать в санаторий по *курсовке* (была такая форма — все проплачено, койку ей дали, но процедуры назначал местный главврач, а он медлил). Тогда мама записалась к нему на прием и протянула конверт, внутрь положив по наивности три рубля, как привыкла давать слесарям. Главврач смахнул конверт в ящик стола и тут же все процедуры выписал. Но наутро с мамой не здоровался. Ему и в голову не могла прийти такая степень наивности. Я шел и думал, что пока бабушку мы не похоронили, посмертного жилья не дали, вернее, мы не захватили силой, она тоже была *нежить*. Пройдя сквозь ряд пустых и несчастных глаз, я вышел из прихожей при кабинете и спустился вниз. Адика, к моему удивлению, я не увидел. Слева от дверей подъезда стоял мент, и какой-то старичок указывал ему траекторию моего прыжка. Мент изумленно пыхтел, соображая, как солидный человек мог сигануть из окна солидного учреждения. А старичок говорил: «Нет, не из наших он был, вон и след как от копыта». — «Не черт же!» — «А кто его знает?!»

Я вернулся в свою коммуналку. «...Твою мать! — сказала Инга. — Даже не глянул? Не лучший вариант. Подождем. Обожди, тебе Георгий сейчас сто грамм нальет, а я соленый огурчик порежу. В комнату не зову, извини, там дети укладываются. Если на кухне, не обидишься? Здесь и холодильник, добавим, если надо. А ты так прямо из окна и прыгнул?» — «Угу». Георгий плеснул водку в три стакана: «Силен мужик! За это надо выпить. Да ты пей, я сейчас колбаски подрежу». Мы выпили, я занюхал огурцом, а потом и закусил, положив огурец на кусок колбасы. «Я завтра ему позвоню», — сказала Инга.

С этого разговора прошло месяца три. За это время я успел съездить на конференцию в Кембридж (на четыре дня), а потом на две недели, тоже по гранту, в Германию, в тихий баварский университетский городок, куда смог взять с собой Кларину. Это было открытие нового мира, где даже обыватели выглядели людьми достойными. После возвращения из Германии меня как-то вечером остановила в коридоре Инга:

«Погоди, Гошу позову. Выпьем. К себе не зовем, дети спят. А скажи, правда, что ты две недели провел в Германии?»

На последних словах вышел Георгий с бутылкой виски.

«Европеец не должен пить простую водку», — сказал он.

Достал стаканы, из холодильника лоток со льдом, бросил лед в стаканы, налил виски на три пальца. Мы выпили. Сделав глоток, он спросил:

«А вот нам с Ингой интересно. Если у тебя мало денег, откуда ты их взял на поездку в Германию?»

«Да деньги немецкие. Это грант, понимаешь? Просто немецкие ученые хотели со мной пообщаться».

Он посмотрел на меня с сомнением:

«Ну не хочешь говорить — не надо. Дело твое. Все равно я тебя уважаю. Вздрогнем еще?! Инга, да и ты выпей».

«Да, — сказала она, выпив свою порцию, — мы тобой гордимся!»

Они пошли в свою комнату, я двинулся к своей. Засунул ключ в скважину замка, как вдруг отворилась входная дверь. Я на секунду замер, чтобы посмотреть, кто идет.

ЭРИК

Дверь отворилась, и, к моему удивлению, я увидел два знакомых лица. Одно интеллигентное, с немного скошенной на левую сторону физиономией, чисто выбритое. Это был Адик, *по дружбе ко мне* натравивший на меня мальчишек из детского сада, стрелявший из духовушки по прохожим и пугавший меня в Тимирязевском парке кровавым дуплом и пр. Не Сатана, но мелкий бес, являвшийся мне по временам. И как-то он оказывался близок с разными моими знакомцами. И во втором я вдруг узнал ночного гробокопателя — Эрика: густые черные волосы лежали на голове, как кепка, бледное лицо с не очень русскими чертами. «Вот, — сказал Эрик, — человек с человеком всегда сойдутся. Рано или поздно. Даугул я. Как и мой отец. Ха-ха!» Я удивленно поглядел на него: «Не понял, как вы сюда-то попали?» Адик подошел ко мне, обнял за плечи: «Да что ты, Вовкин, неужели человек к отцу зайти не может?» Посмотрев на него в упор, я буркнул: «Кончай байду нести, какой отец?» Эрик вдруг сдвинул меня рукой от двери: «Я здесь жил, когда тебя и в помине не было. Эрнест Яковлевич — мой отец, ты успел с ним познакомиться? Вот к нему и иду. Не пустой иду», — он расстегнул куртку и вытащил из внутреннего кармана бутылку дешевой водки. За ними юлил мелкий гаденыш — художник Сим, вроде шакала при большом волке.

Мой друг Андрей Кистьяковский, переводя роман Толкиена «Властелин колец», назвал трусливых и злобных чудовищ-оборотней *волколаки*, сказав, что почерпнул слово из словаря Даля. Из любопытства я посмотрел. Андрей описался, пропустив букву Д. У Даля было похожее, но другое слово — *волкодлаки*. В слове волКОД-ЛАки звучит бандитское «кодла». Я сказал переводчику об этом. Но книга уже была в печати, и исправлять он не стал. Но слово из словаря Даля я запомнил. Эрик словно был иллюстрацией волкодлака: волчья челюсть, мрачные глазки, детство среди бандитов, труслив и зол. Вспомнив кладбище и могилу, ночного упыря, хотевшего вроде бы помочь нам с отцом, а потом вдруг исчезнувшего, я ощутил невольный холодок вдоль позвоночника.

«Здравствуйте, Эрнест Яковлевич! Вот сына вашего привел и соседа! — распахнул дверь Адик. — Чтоб не потерялись. Ха-ха! А от меня китайский подарочек, я ведь опять был в Китае, думал, вас всех позабавить». Он достал из портфеля крупную бутылку зеленого стекла, в которой плавала, извиваясь, змейка, склоняя головку то направо, то налево. «Гадина, но яд уже ушел, только острота осталась». Сам влез в настенный шкаф, достал зеленые стаканы, аккуратно налил туда змеиной водки, три блюдца, три вилки, затем сходил на кухню и принес из холодильника пол-литровую банку соленых огурцов, раскляклых — на любителя. «Змей, он остроу дружбе придает, так китайцы считают. А может, и не считают, может, я сам придумал, врать не буду. Но хорошо придумал. А?» Эрнест молча проглотил змеиной отравы, заел огурцом: «И откуда ты такой взялся?» — «Болтун!» — сказал Эрик. Эрнест Яковлевич поправил: «У нас в Испании таких называли *negro hablador*, „черный болтун“ или дурной глаз». Адик хихикнул и присел своей толстой жабьей задницей на стул: «Меня в детстве кто чертиком звал, кто гадюкой. А я простой пацан. Только с высшим образованием».

«Хватит болтать, — сказал Эрик, — давай еще по одной змеюке. Ты ведь, отец, как говорил про землю, где мы живем: Москва на болоте стоит, не жнет и не сеет, а хлебушко имеет. Хлебушко для нас другие сеют, *мужики*, — последнее слово он произнес с презрением, тоном блатного. — но ты и в лагере не сеял, кажется... А болота были?..» Эрнест промолчал, а Эрик не отставал: «А соседи как? Я их не ви-

дел. Только вот Вована, он тоже теперь твой сосед? Ты, дед, соседскую бабу еще не щупал? Молодая хоть? Дает или дразнится?» Я смутился, Эрик перегнулся через стол, хлопнул меня по плечу: «Чего морщишься? Дед у нас боец был. И лагерь его не утихомирил. Юбки когда мог, то все задира!» Дед приосанился, хотя мизантропия его не оставляла: «Мне моя старуха изменяла, но я прощал. Да и сам был тоже — спуску, кому надо, не давал. А не расходились, потому что семья. Они, нынешние, все поменяли. Флаг трехцветный над Кремлем. Скоро царя поставят. Всюду его славят. Я согласен: не надо было расстреливать. Но забывают, что царь был кровавый. Что девятого января расстрелял рабочих, что на Лене тоже был расстрел. Казаки рубили шашками тех, кто хотел жить получше. А сами были привилегированные, землю имели, посторонних прогоняли, от податей были освобождены. А мы все эти семьдесят лет ругаем, что плохо было. С киркой и лопатой горбились. Какие заводы построили, где ничего не было. Москву построили — две прежних Москвы в ней уместятся. И все было, видите ли, плохо! Вот попадете теперь в капитализм — узнаете!»

Он протянул руку, приоткрыл шкафчик, быстро схватил пару тараканов и забросил их в террариум. Агамы мигом сжамкали насекомых. Дед усмехнулся: «Как учил нас товарищ Сталин, в хорошем хозяйстве все должно в дело идти. Не то что нынешние, только о своем пузе и радеют. Вот сынок мой мог бы, так давно на меня настучал бы и комнату мою получил».

Эрик огромной ладонью хлопнул отца по плечу: «Что-то тебе лагерная выучка на пользу не пошла. То хвалишь Сталина, то нынешнюю власть хаешь. А свояки-то твои ворами в законе были, и никто на них не донес. Даже и при Сталине. Вот ты был враг народа, а они вообще мимо вашей власти прошли. Так что хватит, дед, антиправительственную пропаганду здесь разводить. Мало, что ли, отбаландил, снова баланды захотел? Мы-то не донесем, не ссы!»

«Ты хуже таракана», — угрюмо сказал дед.

«Может быть, а ящерам своим меня все равно не скормишь. Вот ты слесарь высшего разряда, без тебя завод не обойдется. А я зато инженер, ни хрена не работаю и получаю поболее твоего. И девки мне всегда с охотой дают, как с твоей Клавкой мы вместе на каток ходили, и я ее щупал, сколько раз она со мной спала, пока после смерти матери к тебе, отец, в койку залезла».

«Ну не груби отцу, Эрик, — возразил Адик. — Давайте о детстве вспомним. Помните, вы все меня Дуремаром-дурачком дразнили за то, что я всюду с сачком в болотах наших лягушек и головастика ловил. Как мой дед-академик злился, когда я суп из головастика себе готовил! Это лучше и слаще всякой девки!»

А я сидел, и странные мысли-видения шевелились в моем мозгу. Я ведь знал неплохо этот двор, этот микрорайон. Рядом с нашим домом стоял одноэтажный деревянный домик на две семьи, в одной из них жила моя первая любовь Танечка, светлоглазая, курносенькая, очень милая, чистила мое пальто, когда я в лужу свалился. А ее милая мама одобрительно улыбалась: «Вот и же женишок у нашей Танюшки». Жили мы все небогато, даже наша профессорская семейка, но все же мне доставались иногда апельсины и зефир, которые я тут же тащил своей подруге, она сидела на лавочке, болтала ножками в ботиночках с калошами и иногда отламывала дольку апельсина и давала мне. Съев апельсин, она закусывала зефиром и бежала в сени своего домика, выносила кружку с водой, набранную из ведра, стоявшего на лавке в сенях. И поила меня, как героя-генерала из песни. Один раз только нарушил нашу идиллию Серега, ее брат фабричный, как-то вышедший утром с похмелья и выливший на себя ведро воды, встряхнув и покрутив головой, он обратил внимание и на нас, мелкоту, ей одиннадцать, хотя уже груд-

ки нарисовались, мне было уже четырнадцать, но чувствовал я себя маленьким еще. Он подошел к нам, приподнял Таньку, смачно поцеловал в губы и похлопал ее по оформившейся попе. Потом спросил: «Что, не трахались еще? Пора уже, не дети. Ну, Вовка профессорский внучек, но из бедных, он тебя небось даже не полапал как следует. Вон Адик из его дома тебе уже в писю, что надо, засовывал, жезл свой то есть, при тебе мне рассказывал, а ты только хихикала да и посасывала его потом, сам видел». Я сидел то красный, то белый, то зеленый. Потом вскочил и выскочил за калитку. Танька кричала: «Зачем врешь?!» — и била брата кулачками, побежала за мной, но я уже влетел на свой третий этаж и дверь ей не открыл. И больше с ней по возможности не общался. Но помнил всю жизнь. До сих пор помню.

Сидя за столом у Эрнеста, после слов Адика о девичьей сладости я невольно вспомнил эту историю. А Адик словно почувствовал мои мысли и сказал: «Знаешь, эти лягушоночки из простонародья ужасно эротичны, я бы даже сказал — сексуальны. Они так ножки раскидывают, прямо как у цыпленка-табака. Танюшка, твоя дворовая подружка, которую ты так и не оприходовал, она ножки удивительно сладко раскидывала... Ладно, Вован, не сердись. Ты же ее не брал, так что и обижаться не на что. Хотя нам, из рода королевских жабов, жабов-принцев, все позволено. Сидишь на камешке и все вокруг себя видишь, а лягушонки перед тобой скачут, себя показывают. А наши профессорские, особенно дочки академиков, те вообще наглые были. Ты вот, Вован, Машку, дочку академика Форматорова, помнишь? Та никого не стеснялась».

Помнил я ее смутно, высокая, черноволосая с покрашенными красными толстыми губами и лошадиным хвостом на голове, как было тогда модно. Ноги были толстые. Училась в одном классе с Адиком. Переспала со всеми мальчишками из класса. От одного к другому передавала себя. Ходил рассказ, как ее мать, Анна Фридриховна, застала Адика в постели с дочерью; тот, судорожно натягивая трусы одной рукой, другую протянул Машкиной матери, при этом от неожиданности сполз в щель между стеной и кроватью, как таракан, и из щели вежливо пробормотал: «Гутен морген, Анна Фридриховна! Мы тут с Машей немецким занимаемся». И та вдруг похвалила его: «Хороший мальчик! Другие бог знает чего хотят от моей девочки, а ты ей в иностранном языке помогаешь! Не то что эти жабы, другие мальчишки». А Адик, вспоминая эту историю, вдруг хихикнул: «А кто кого трахал — поди разбери. Как вцепится — приходилось ухи крутить, чтобы от себя оторвать!» Сим пронзительным голосом захихикал.

Эрик захохотал. «Все пацаны и есть жабы. Скольких этих лягв мы натягивали».

Голова у меня закружилась, хотя давно это было. Но все равно тянуло на рвоту.

Дед нахмурился. «Мы фашистов жабами называли. Жабы они и были нежитью. А ты, Адик, нежить и женщин в нежить превращаешь. Они, конечно, разные. Но от нас зависит, как мы их видим. Как мы их видим, такими они и становятся».

Вдруг Адик вскочил: «Да ладно, дед! Ведь когда твои друзья-большевики нам показали, что на небе пусто, пришлось искать что-то в глубинах земли, в ее пещерах, в ее пропастях, в ее слизи. Я смысл существования искал, я думал, что есть Сатана, и даже сатанистом одно время был. Но и Сатаны нет, есть слизь человеческая, живая и неживая».

Он вдруг хлопнул меня по спине: «А чего мы жилье Вована не посмотрели до сих пор? Пошли, пацаны, пошли. Да не дрейфь, хуже нет дрейфить. А ты, дед, захочешь, тоже к нему приходи!»

Но Эрик завалился на диван:

«Я поспать должен».

А мы очутились в моей комнате. Эрнест тоже. Книги, пианино, пишущая машинка и фотопортрет моего деда, который я перевесил в изголовье постели. «Ну вот, — сказал Адик, — вот тебе и великий черепах, твой дед». А далее произошло нечто невероятное жуткое. Портрет словно налился какой-то жизненной силой. Глаза деду засверкали, а руки и плечи разорвали бумагу, и оказался он в моей комнате сидящим за небольшим журнальным столиком. Сим охнул, побледнел и рухнул на пол, на минуту открыл глаза, пробормотал: «Я художник, существо чувствительное». И снова закрыл глаза, и стал белым, как школьный мел.

Адик сказал: «Навсегда ушел. Отправился к месту своего вечного пребывания, устье реки Жабенки в коллектор. Там разложится, и рачки им будут питаться». Он потер шею: «Я, пожалуй, тоже удалюсь. Делишек много, да еще две лягвы не оприходованы. И Сима с собой прихватчу». Он завернул его в газету, как большую попку, взял под мышку и вышел, хлопнув входной дверью.

«Н-да, — сказал дед Моисей, — чудес на свете много, но прошу учесть, что все же по-прежнему есть тьма и свет, а Сим решил, что все, что не на небе, — это тьма. Но даже среди жаб можно найти светлых, которые противостоят тьме. Сим этого не понял. Дела мой фотопортрет из старой фотки, он воображал, что соприкасается с темной силой, а когда я вышел из его снимка, он понял свою ошибку. Но поздно. Я как черепаха Тортилла с золотым ключиком».

«Ключик от чего?» — спросил я, вспомнив Буратино.

Никто не ответил. Адик с Симом ушли.

Дед сказал: «От квартиры твоей будущей. Только пока он невидим. Ты его расколдуешь. Возвращаюсь на бумагу, а ты теперь дальше сам все должен искать и прояснять. Главное — семью береги!»

«Так ты жив или нет? — не выдержал я. — Ты же только на фотопортрете был...»

«А я, как слепой Тиресий, живу и смотрю внутренним взором. Вижу смысл, это главное. Древние греки ведь говорили, что тот, кто живет духом, не умирает. Потому что дух никогда не умирает».

«А где же нежить?» — крикнул ему я.

«Повсюду, — ответил дед. — А внешних отличий от человека немного».

«Точно, — подтвердил Эрнест Яковлевич, не удивившись явлению моего деду, — да и человек мало осталось. А ты, Владимир, держитесь с Клариной за меня. Помру — комната вам. И выдумывать ничего не надо. А Инга себе найдет жилье, за нее не беспокойся!»

И он выскользнул из комнаты, а фото снова повисло над моим изголовьем.

ИНГА УХОДИТ С СЕМЬЕЙ ИЗ КВАРТИРЫ

А еще через две недели ко мне днем зашла Инга с бутылкой вина в руке: «Посидим немного, ты машинку-то свою отодвинь, освободи уголок, у меня бутылка испанской „Малаги“ и итальянский пармезан. Вечером выпьем еще с Георгием, а потом на новоселье. Я тебе пришла признаться, мы же приятели, лучше уж ты через меня узнаешь, чем от ментов, которые наверняка припрутся с расспросами. Пора из дома нежить в нормальную жизнь идти. У меня ведь отец генерал был, Георгию до него далеко. Решили из этого дома уехать. Ты замечал, что запах канализации все время держится в подъезде? Вплоть до нашего последнего этажа. Поживешь подольше, заметишь. Звонить в РЭУ бессмысленно. Мне месяца хватило, чтобы это понять. Даже аварийка пробить засор не может, ведь дом на болоте выстроен, другого свободного места не нашли. Но что самое, на мой взгляд, жутковатое, что

и аварийке не дает развернуться, под нашим домом внутрь уходит еще строение на восемь этажей. Зачем оно было выстроено, сейчас даже генплан не расскажет. Скорее всего, так тогда строили бомбоубежища, рядом ведь космический завод академичка Люльки, а его рабочие на пятьдесят процентов жильцы этого дома. Бомбоубежище приказало долго жить, и что там сейчас, не знает никто. Понял? Зря ты Вальку тогда не трахнул, сейчас жил бы спокойно в двухкомнатной квартире, а баба она сладкая, заботливая».

«Я женат, — возразил я. — Ты же знаешь!»

«Жена не стенка — подвинуть можно, — усмехнулась Инга. — А ей лестно с интеллигентом...»

Слушая ее, я думал: где проходит у женщин грань между порядочностью и выгодой? Поразительное дело. Я вспомнил рассказ приятеля о нашей общей знакомой, которая поступила работать в молодежный журнал, переспав с заместителем главного редактора. А выглядела и вела себя как чрезвычайно порядочная. Очень милая и интеллигентная женщина. Где же проходит грань? Назовем ее Еленой Глинской.

«Сам разберусь!»

«Понятно. А тебе интересно, где я квартиру сделала? Три автобусных остановки в сторону кольцевой. Нам-то необязательно около трамвайной остановки, у Георгия машина, а за мной всегда казенную пришлют. Но все же, скажем, тебе легче будет приехать к нам в гости. Квартира у нас большая. Из шести комнат. Две нам с Георгием, детям по комнате, мать к себе беру, и еще большая гостиная. Не хотела, чтобы сотрудники знали, сколько у меня денег. Будут болтать, что взятки беру. Ты-то порядочный, рот на замочке всегда... И я всем сказала, что ссуду взяла. Вот уже и звонок. Сейчас работяги придут, вещи выносить. Можем тебе с женой оставить трубы для штор. Как привинтили — не помню, теперь не отвинчиваются. Но вам могут пригодиться. Я вообще договорюсь в конторе, чтобы проблем у вас не было, вам сразу комнату присоединят, без хлопот. Так что через неделю можете переезжать. Будете более или менее нормально жить, не все же себя нежитью чувствовать. Конечно, от болотной пропасти не убежишь, но в ближайшие годы дом вряд ли провалится. Я ведь здесь не случайно собиралась зацепиться. А захочешь, Вальку к тебе пошлю или тебя к ней, лучше с лягушкой в двушке, чем в полуаварийном доме, где клозетом на весь подъезд несет».

«А Эрнест знает?»

«Узнает в свое время. Его это не интересует...»

Пока говорила, нарезала ломтями пармезан, разлила по стаканам «Малагу». Мы выпили, закусили. «За удачу!» Повернулся ключ во входной двери, из прихожей послышались голоса Георгия и незнакомых рабочих. «Плачу вдвое, — отчетливо выговаривал Георгий, — но упаковать все надо сегодня. А завтра вывезти. Мы пока ночуем на старой квартире». Войдя в мою комнату, пояснил мне: «Это бывшая наша двушка, теперь там тетка Инги живет, прямо из ее рук кормится, не наподличает. Да и почва почти гранитная. Теперь прежде, чем строиться, надо с дигерами договариваться, чтобы все предусмотреть. Москва ведь вся в провалах. Пока шел, опять запах в подъезде стоит, канализацию, наверно, опять прорвало. С мобильного позвонил в РЭУ, потребовал вызвать аварийку. Сейчас подъедет. Ну ладно... Вижу, вы уже начали, а я виски принес. Доставай стаканы, а вот еще финский сервелат».

Из их комнаты слышались легкое постукивание молотка и шуршание бумаги и бечевы, шла упаковка их вещей. Из-за окна мы услышали, как отвинчивался канализационный люк в асфальте перед домом, потом спустили туда лестницу и начали разворачивать шланг. Я вышел на балкон (балкон был только в моей комнате), посмотрел вниз, там стояла аварийка, открытый люк, из которого время от вре-

мени высывалась рука, а молодой парень, сидевший рядом на корточках, протягивал в эту руку то один, то другой гаечный ключ. А голос из люка увещевал парня: «Учиться тебе, Коляня, надо. А то так и будешь всю жизнь ключи подавать». В этот момент, чавкая, гофрированная белая и гибкая труба, слегка извиваясь, принялась засасывать содержимое канализационного люка. Аромат мочи и фекалий наполнил двор. Через полчаса труба свернулась в кольцо, процесс вроде был закончен. Шофер с подсобным рабочим слегка сдвинули крышку люка, чтобы дать простор работавшему внизу. Изнутри слышались звуки рвоты. Откинув крышку люка, из глубины вылез в спецовке слесарь, узкоплечий длинный мужик с парой гаечных ключей в руках с зеленым лицом, будто его там тошнило. Он встал вначале на колени, словно готовился к новой рвоте. Ему помог встать на ноги юный парень, тоже в спецовке. Слесарь вытер локтем лоб и подозвал еще и шофера: «Мужики, сегодня у меня лестница из-под ног поехала, думал, рухну в пропасть. Но зацепился х... знает за что — вроде обломок стены, а под ним вонючей воды целое озеро. Дермо плавает, некоторые штуки длинные и толстые, на змей похожи. Меня пару раз там вывернуло. Я еле выбрался. Был бы скафандр, может, и полез бы. Говорили же, что под этим домом бомбоубежище построено. Глядишь, чего нашел бы!» Молодой хмыкнул: «Бомбу, что ли, али зенитку? Так на хрена они нам!» Люк завинтили. Машина уехала. Я вспомнил, что Гиляровский называл работавших в таких колодцах работяг — гномами. Если вспомнить скандинавские сказки, я бы назвал их троллями.

«Поэтому и уезжаем, — сказала Инга, вышедшая со мной на балкон. — Слышал небось про провалы даже в центре Москвы?»

«Ну, там диггеры ползают, только про их находки власть молчит».

Тут открылась дверь в их комнате, оттуда вышли трое работяг, сказавших, что работу закончили, а перевозить вещи приедут завтра с утра. Георгий повел их к двери, мы невольно прислушались. Оттуда слышались крики. «Ну, помогите кто-нибудь! — кричал юный женский голос. — Я в магазин выйти не могу, а он разлегся перед дверью и ногами в нее уперся». Напомню, что на каждом этаже располагались по четыре квартиры, две с одной стороны, две с другой. Там, где были наши квартиры, прихожая была маленькая, поэтому мужик заполнил ее целиком, спиной упершись в нашу дверь, а ногами в соседскую, откуда доносились женские крики.

Мы с Георгием нажали на дверь плечами, что-то поехало. Дверь открылась. На разбитом кафеле лежал пьяный мужичок и ругался: «Вселили эту с... в мою квартиру. А на кой хрен она мне сдалась. Баба моя померла, из-за этого и метры освободились, и месяца не прошло, как мне эту мать-одноночку подселили. А на хрена она мне!!! Да еще с девчонкой». Георгий пнул его ботинком в бок и сказал своим работягам: «Поднимите его и спустите на один пролет лестницы вниз. Пусть отоспится».

И повернувшись ко мне: «Вот гаденыш, ни о чем хорошем думать не может. Уже метры жилищные есть, так и их загадит. На самом деле врет. Бабу свою он уже два года как в гроб вколотил. Его бы выгнать, но куда деть метраж? Вот и подселили молодую женщину с ребенком. Квартира-то не его, а коммунальная! Такой вот расклад. И женщину с ребенком доводит. Чем ему помешали? Такому бы не жить. Я бы, ей-богу, нанял кого, чтоб его прибили, да сидеть из-за такой мрази не хочется. А ведь истинная нежить. Нельзя тронуть. Только ждать, пока сам сдохнет».

Отворилась дверь, которую не давал открыть алкаш, выглянула осторожно маленькая, бледная и худенькая женщина. Она представилась: «Женя!» Такой я ее почему-то и воображал. «Спасибо, — робким голосом сказала она. — А то нам с дочкой даже в магазин не выйти. Боюсь ее оставить одну. Этот ведь он как плесень,

гадко после него даже на кухню заходить. Грязь и запах пьяного мужика. Мне противно. Мой муж такой же запах издавал, я ушла от него, хорошо, хоть расписаны не были, и дочурку мою он не заберет. Спасибо вам. Сейчас быстро сбегает в магазин, потом, пока он пьяный валяется, нам что-нибудь сготовлю. И в комнате запремся. А то знаете — жуть, когда он начинает ломиться к нам. Хорошо, что замок прочный».

А я вспомнил, что еще месяц назад за лифтом на лестнице, которая вела на чердак, ночевали бомжи. Один раз, когда Кларина вела Сашку в детский садик, на этой чердачной лестнице спал бомж, а из брюк мимо башмаков текла струйка мочи. Надо было ставить дверь перед лестницей. Я договорился с лифтерами (Кларина подсказала, но сама не пошла к ним, мол, *бабу не послушают*), что они поставят лифтовую дверь, припаяют ушки для замка, а уж замок и ключи — наше дело. Мы попытались собрать хоть по червонцу с соседей, дал Эрнест, Инга, дала бедная соседка Женя, «одноночка», дала семья из отдельной квартиры на другой стороне площадки. Толстая соседка, с трудом носившая свое толстое тело и собачку Жулку, болонку, отказалась: «Зачем? Тридцать лет живем — все ничего было. А вы сразу новые порядки заводите!» Кларина терпеливо объяснила: «Саша маленькая. У чердака часто пьяные спят, под себя делают. Зачем ребенку это видеть?» Хозяйка Жулки возмутилась: «Зачем! Зачем! А чего от нее скрывать?! Это — жизнь. Ничего особенного не происходит. Пусть видит». И денег не дала.

Да, подумал я, это провал — тоже страшный, как и пустоты под землей. Тоже пустота. А нежить там, где пустота. В подвалах, провалах, в головах публики.

Что-то я заумничался. А Георгий взял меня за плечи: «Пойдем допьем». Я возразил: «Может, проводить его?» — «Да ты блаженный! — засмеялся Георгий. — Чего ты опасешься? Этот пролежит еще не меньше пары часов, а потом побоится пускаться в ход кулаки».

«Ну что, герои? — сказала Инга. — Я пока и закуску кое-какую сотворила. И хватит реагировать на всякую падаль!»

Наутро пришла машина, и их мебель перевезли. Сами они поехали на своих «Жигулях», Гоша за рулем.

«Мы, как устроимся, позвоним тебе, приходи. Тем более у Гоши через месяц юбилей — тридцать лет отмотал уже. Вы же с ним почти ровесники».

Мне было уже за сорок, но говорить об этом я не хотел.

ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТОПОГРАФИИ

Пока я вел дипломатию на новой нашей жилплощади, Кларина готовилась к переезду. Вещей у нас немного было, шкаф, детская кроватка, матрас, купленный мной по случаю, широкий и удобный. Вначале он стоял на полу, потом друг детства Косицын приделал к нему четыре ножки. Получилось нечто вроде тахты. Еще полдюжины стульев и обеденный стол. До этого по наводке Инги я сходил в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ДЖПиЖФ г. Москвы) и оформил наше жилье и метраж на имя жены. Там меня уже ждали. Поскольку ничего нового я не просил, более того, по закону мне полагалась вторая комната как жильцу коммуналки, имевшему право на дополнительную площадь, а тут еще и Инга, их коллега, добавила просьбу. Получив бумагу, подтверждающую наши права на эту дополнительную площадь, я почувствовал себя мужчиной, защитником, добытчиком, рыцарем и т. д.

Кларина оставила дочку с тещей, приехала, тщательно вымыла комнату уехавших соседей, заодно коридор, кухню и мою комнату. Ей не понравился запах про-

рванной канализации, но вариантов не было. «Будем с этим бороться», — сказала Кларина. Через день приехал в наше новое жилище мое маленькое семейство во главе с тещей. Сашка поначалу робела. Привыкнув к маленькому пространству нашего прежнего жилья, тут она растерялась. Большая кухня, почти комната, большой коридор, которого в предыдущих наших жилищах не было. По коридору надо было еще пройти, чтобы попасть ко мне в комнату. Холодильник, хоть и общий, но большой — не то что наш маленький «Саратов». Хотя его мы тоже забрали и поставили в мою комнату. Сашка бродила, бродила и вдруг разревелась. Мы бросились к ней. Вышел из своей комнаты и Эрнест Яковлевич: «Что с тобой, киса?» — спросил он. «Я заблудилась, — всхлипнула она. — А откуда вы знаете, что я киса?» Эрнест улыбнулся, наклонился: «Обожди, я тебе конфетку принесу». Ушел, вернулся, вынес ей конфету «Гусиные лапки» (были такие — дешевые, но вкусные). «А их правда из лапок гусей делают?» — спросила дочка. — Но гусям же больно. И как они ходят потом?» — «Это только название такое», — объяснила теща, а Кларина добавила: «Эрнест Яковлевич, заходите к нам — чаю попьем». Он заколебался: «Пойду поищу — чего у меня к чаю есть». Принес пряники и банку яблочного варенья. «Сам варил, не обессудьте».

За столом Эрнест рассказывал нам, что место это неплохое: «С одной стороны — парк Сокольники, с другой — Лосиный остров, а через дорогу — простор ВДНХ, там погулять с ребенком можно. Запах, конечно, у нас в подъезде не очень-то. Во-первых, на болоте стоим, во-вторых, соседи — люди некультурные, очень некультурные. Спускают в туалет черт знает что. Вот и засоры, вот и запах. И еще учтите, что под землей трубы с нашими мелкими речками проложены, да я и названия позабыл. Но, видимо, подгнили, запах из-под земли идет. А я так понимаю, что там, где гнилость, там и жизнь какая-то должна быть. Не всегда хорошая. Комары у грязной воды — тоже жизнь, но они же кровососы. Да и в воде живут свои вампирчики — водяные. Одно мне странно: наши людские кровососы — толстые и румяные, толстосумы. Они ведь нежитью зовут тех, кому негде и нечем жить. Вот мы с вами для них отчасти нежить. Сталин их правильно расстреливал десятками». Дед был очевидный коммунист. А я думал, как спутались понятия. Абсолютный хаос. Нежить — это ведь не мертвый и не живой. Но все же человек.

Бывают и не богачи, и не безгрошовые, бедные, но тоже нежить. Я вспомнил историю десятилетней давности. Сотрудница моей первой жены, искусствовед, хрупкая кудрявая девочка, собралась замуж. Жених, по рассказу первой жены, был мил, высок, широкоплеч, с завитками каштановых волос вокруг лба, голубоглаз, образован, очень неплохо разбирался в западноевропейской живописи. Уже все было готово для свадьбы, с утра загс, потом ресторан, где отец невесты заказал шикарный свадебный пир на двадцать человек. А далее действие разворачивалось с невероятной скоростью и непредсказуемостью поступков. У дверей загса жених сказал невесте и ее родителям, что он раздумал, что еще не нагулялся, а плоть требует полигамности, что кольцо не отдаст, что это подарок его несостоявшейся жены, что это память о ней. Тут подъехало такси, в котором сидела пара его друзей, в эту машину и прыгнул жених, предварительно подойдя к невесте, поцеловал в губы с засосом, а потом облизал длинным языком ее лицо. И машина увезла его. Невеста рыдала, ее успокаивали, повезли домой, подруги поили коньяком, родители валерьянкой. Потом отец невесты, опомнившись от потрясения, поехал в ресторан отменить заказ. Но опоздал: бывший жених с приятелями, пока заказ не был отменен, славно поели и попили, отметив разрыв с невестой, и ушли, сказав, что, как и договорено, заплатит отец невесты. Можно его просто назвать негодяем, но ведь тут особый тип нечеловека, который ест, пьет, занимается сексом (с невестой он, разу-

меется, не раз спал). Нежить? Можно и так. А вдруг он так опустил эту девочку, что и ее превратил в нежить, как и положено вампиру.

А на следующий день мы пошли гулять. Прошлись немного по Лосиному острову мимо Яузы. В мутной воде плескались утки. Сама Яуза текла мутная, зеленоватая, извиваясь, как змея. Потом я довел своих девочек до соседнего с нашим двора, где были качели, а сам схватил такси и поехал на работу. Шоферы у нас порой вдруг начинают рассказывать истории из жизни или делиться геополитическими соображениями. Или мне на таких везет. В тот день я на такси ехал на работу, и на такси же возвращался домой, беспокоясь, как жена и дочка провели время на новом месте. Первый шофер был мордвин, с толстым носом. Сразу начал: «Всю жизнь здесь живу. А в своей столице, в Саранске, ни разу не был. А надо бы, чтобы корни помнить. А знаешь, что Сокольники — это мордовский парк, так назывался. Здесь мы сражались — просека на просеку. Мордва сильная. Ты знаешь это?» — «Знаю. Жена наполовину эрзя. Эрзя — это воины из мордвы. Но ты ведь мокша?» Я помнил, что у мокши большие надбровные дуги, что они чаще светловолосые, и кто не знает, принимает за русских. Да они и есть, по сути, русские. Он посмотрел искоса, вроде я его немного унизил. И сказал сурово: «Мы тоже драться умеем. И потом парк пополам поделили. Половина им, половина нам». Я ответил: «Я знаю, великий адмирал Ушаков — мордвин, да еще патриарх Никон и протопоп Аввакум, великий писатель Шукшин. Слыхал про таких?» Он кивнул: «Кое-что», но стал глядеть на меня дружелюбно. А мне все это было странно, никогда на этом уровне я Сокольники не воспринимал. Лесное пространство, где царь Алексей Михайлович практиковал соколиную охоту, потом парк для народа, куда семейно ходили гулять по дорожкам. А что там были схватки юной разнорасовой шпаны (да еще по национальному принципу), мне и в голову не могло прийти, глядя на семейные прогулки.

Назад меня вез шофер-татарин. И снова разговор затеялся геополитический. Шофер говорил: «Русские говорят, что их завоевали татары. Мы же крестьянствовали по берегам Волги. Мы всегда там жили. Это монголы пришли. И русских завоевали, и нас заодно. Мы же с русскими братья. Но они превратили нас во врагов, сделали как бы нежитью, вурдалаками, а вы и поверили». Мне стало стыдно, потому что о татарском нашествии и я писал, не всегда вспоминая о великих русских родах, имевших татарские корни, — Чаадаева, Карамзина и других. Даже знаменитый герой «Что делать?» аскет Рахметов тоже татарского рода. «Да что ты, — сказал я. — Татары столько сделали великого для русской культуры...» И назвал все эти великие имена. Он вдруг повернулся и поглядел на меня с уважением. «Вы, наверно, учитель истории». — «Отчасти», — ответил я смущенно.

У подъезда меня ждали жена с дочкой. Обе выглядели странно, испуганно и нервно. Кларина сказала: «Меня до сих пор трясет. Вот ты сейчас о нежити пишешь, могу добавить в твою копилку». Они в соседнем дворе гуляли. Дочка села на качели, с другой стороны бревна другая девочка. И вдруг она спрыгнула с качелей, не обращая внимания на дочку, которая сидела с другой стороны бревна, так что Сашка ударилась попой о землю и полетела вниз. Кларина отругала девочку и пошла к женщине, которая, судя по всему, стерегла девочку, сказала ей, что надо бы объяснить ребенку, что так поступать нельзя. Та позвала, девочка не пошла. «Потом отругаю, да не могу ее ругать. Я ей не мать, а тетка. Мать полгода как умерла. Микроинфаркт был, а неотложка вколола реланиум. А расслаблять мозг нельзя в этот момент. Уснула и через четыре дня умерла. Отец девочку сразу бросил. Жила у бабушки. А ту два месяца назад в четыре часа дня — за внучкой в садик шла — убили прямо на улице. Ударили в переносицу. За ноги в кусты оттащили и обобрали всю.

Думаю, из-за серег, серьги красивые были. Мне в восемь вечера позвонили из сада, что за девочкой никто не пришел. А бабушку, мою мать, нашли только в десять вечера. Когда у Наташи мать умерла, она не плакала, она все ждет, что мать вернется. А над бабушкой рыдала. „Теперь, — это она мне говорит, — когда ты, тетя, меня ругать будешь, защити меня некому“. Отец шестьдесят пять рублей в месяц посылает. Женится на богатой женщине. Там мальчик пяти лет, дача, квартира, машина. Так он дочку прошлым летом пустил на дачу, но за плату. А Наташка тянется к отцу, хочется ей общаться. А он даже грядку свою дочке на даче не позволил разбить. А из жены, Наташиной матери, всю кровь выпил, до инфаркта довел. Вампир хренов. Да и с дочкой — сама видела — в папу-маму играет, хотя и шутейно. Разложит на постели, как лягушонку, щекочет в разных местах и хихикает». Сашка тоже слушала, глаза вытаращила.

Кларина ей говорит: «Иди поиграй с Наташей. Только ты поняла, что о маме ничего не надо говорить. Она закивала: „Поняла, я просто поиграю“, сгребла все игрушки и пошла дарить. Вот такая наша дочка, хорошая дочка».

Я проворчал: «Страшная история. На русский лад».

* * *

Уже дома открыл Тургенева, от меня ожидали в журнале статью об «Отцах и детях». Отцы капризничали, а сыновья готовились к новой жизни, входили в новую эпоху.

«— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!»

Я как-то странно посмотрел вдруг на знакомый текст. Конечно, Тургенев не метафизик, но многое фиксировал, что не видели более философические авторы. Если принять, что живое существо вселенной пронизывают общие токи и что случается в одном телесном состоянии, реализуется в другом, то «Антропологический принцип в философии» Чернышевского прав, все живое едино. Я вспомнил, как легко дающих девушек, с «пониженной социальной ответственностью» Адик называл лягушками. А нигилист Базаров, в сущности, насилывал лягушек, распластывал и ковырялся в них. Но не делали ли люди то же самое друг с другом? Достаточно вспомнить, что творили с женщинами в ГУЛАГе. Как говорил Эрнест Яковлевич: «Охранники с женщинами в лагере *очень безобразничали*. И никто за них заступиться не мог». Он был прав. Поэтому и висит в воздухе ощущение насилия и нежити.

Уложив дочку, мы поговорили о Тургеневе, о необходимости книжных полок, книги лежали стопками на полу. Кларина сказала, что внизу, в мебельном она видела застекленные полки, которые можно поставить одну на другую, и цвет приличный, светлый. Утром отправились в мебельный, купили. Директор сказал, что донести их и поставить как следует поможет их рабочий.

«Эй, Витек, — крикнул он, — помоги. Они тебе заплатят».

Подошел малый в грязной рубахе со странно светлыми глазами и руками в порезах и мозолях (заметил, когда он укладывал на тележку запакованные полки). Так я познакомился с новым персонажем моего повествования. Он легко переносил полки, но ставил их не очень-то аккуратно, разбил пару стекол. Я сунул руку в карман, оказалось, что я не рассчитал, и деньги кончились при покупке полков.

«Не переживай, — сказал он, положив мне руку на плечо, — завтра стекла заменю, тогда и деньги отдашь».

Он ушел, хлопнув входной дверью. На хлопок вышел Эрнест Яковлевич с монтировкой в руках: «Держу у порога своей комнаты на всякий случай. Дверь не запираю. Если тебе понадобится, заходи и бери. Смотри — у порога около шкафа. А сейчас просто не понял, кто это так грубо дверью хлопнул. Вот и вышел». Я поблагодарил деда, но сказал, что не хотел бы этим пользоваться, не в моих правилах.

«А ты что, до сих пор на луне жил?» — спросил Эрнест.

Вспомнив его двенадцатилетний гулаговский лагерь, я промолчал, подумав, что не уверен, смогу ли я монтировкой ударить по голове рвущегося в квартиру. Эрнест смог бы, это было ясно. Только с сыном совладать он не мог. Может, чувствовал почему-то вину перед ним за то, что период его взросления он был то на войне, то в лагере. Его жена оказалась сестрой бандитов. Эрик был выше отца, шире в плечах, даже красивый, если не считать появлявшегося временами волчьего бандитского выражения на лице. Он шпынял отца, что он уехал в Испанию, бросив семью, поэтому он может считать себя как бы из испанских детей. «Думаешь, — говорил он, — я таким здоровым вырос на твоём прод-аттестате? Это пока ты в армии был, хоть что-то шло, а потом вообще ты в лагере отсиживался, пока мы здесь выживали». Кого-то он мне напоминал из прошлой жизни, из какого-то жизненного эпизода, но я не напрягался. Не до того было. Он рассказывал, что мать во время Великой Отечественной войны, когда Москва пухла с голоду, питалась всем свежим, что деньги хранила в наволочках, награбленное. Сам он питался черной икрой, когда Москва голодала, потому и вырос такой здоровый. Своего сына бросил, не общался, сын в свою очередь оставил жену с дочкой. Вообще, взгляд у Эрика был такой, словно он тебя не видит или видит, но как-то со стороны, взгляд бандита, который так и не стал бандитом.

СЫН ВЫЖИВАЕТ ОТЦА С ЭТОГО СВЕТА

Эрик всегда приходил к отцу с бутылкой спиртного весьма сомнительного качества, паленой водкой, *паленкой*, что хуже бормотухи. Эрик был здоровый кабан, но и ему бывало тяжело от этих напитков. Так они подтравливались раз от раза, пока дед не траванулся как следует. Думали, что ослепнет. Несколько дней ничего не видел, носил даже на глазах повязку. Потом зрение немного вернулось, но работу слесаря с высокоточными инструментами пришлось бросить. Так что сын выступил в роли своего рода нежити, сам не жил, пил да и отца лишил его жизни. И Эрнест с того момента находился как бы посерединке, не жил и не умирал. Читать тоже уже не мог, только телевизор временами смотрел. Сидел на кровати и смотрел, только чай пил с бубликами. А с Эриком все же продолжал спиртное употреблять. Поздними вечерами ходил на «Маленковскую» — станцию электричек неподалеку от нас, на краю Сокольников.

И повторял все время:

«Подыхать пора. Стар стал. Совсем стар. Ночью хотел на станцию идти. Сходил. Да электрички редко ходят».

«Зачем?»

«Лечь под нее. Хватит уже. Пожил. Кашель замучил. Совсем плохо сплю. Я ведь в Испании видел Кумскую Сивиллу, а мальчишки ее спрашивали: „Чего ты хочешь, Сивилла?“ А она ответила: „Хочу умереть“. Вот и я хочу».

Я поразился, как не раз поражался его неожиданной образованности, но не нашел, что сказать.

А однажды, когда он шел в туалет, вдруг остановился, держась за стенку, но все же не устоял, сполз на пол. И наложил в штаны. Лежал на полу и плакал. Услышала его Кларина, выскочила из нашей комнаты, увидела, что произошло, и крикнула меня, а я в тот момент открывал входную дверь: «Что случилось? Что с Эрнестом Яковлевичем?»

«Не задавай вопросов, не время. Помоги».

«Перенесем в его комнату?»

«Да, но вначале сними аккуратно с него пижамные штаны и трусы. Отнеси их в ванную. Только не испачкайся. Положи в таз и возвращайся».

Мы перенесли его в его комнату. Кларина нашла детскую пеленку, постелила на кровать, на нее мы и положили деда. Кларина помыла его, вытерла, приговаривая:

«Не стесняйтесь. Я не могу вам не помочь. Я на медсестру училась».

Он, подчиняясь ее рукам, говорил мне: «Хорошая женщина Клариночка, тебе повезло, Владимир. Береги ее». Потом она выстирала его одежду, повесила на веревку, которую мы сразу по приезде протянули на кухне. Но что-то с ним после того случая произошло.

Он ходил с трудом, шатался, перестал выходить на улицу. Эрик стал приходить к нему почти каждый день. Эрнест говорил сыну: «Помру скоро. Ты посиди со мной, комната тебе достанется!»

А тот все же каждый день приносил бутылку. Я как-то сказал ему:

«Эрик, отцу бы не надо пить. Как бы опять по глазам не ударило».

Он посмотрел на меня своими пустыми зелеными глазами, молча отодвинул меня, поскольку шел как раз в комнату отца: «Сто грамм даже полезно». Когда он говорил, то виднелись в боковых полостях рта совершенно волчьих клыки.

Кларина услышала, вспыхнула и крикнула вдогон: «Ты отца так до преждевременной смерти доведешь».

Наверно, не надо было так говорить. Потому что Эрик вдруг задумался, то есть неправильное слово «задумался» по отношению к нему, просто извилины зашевелились, проворачивая мысль, которая возникла от Кларининых слов. И, конечно, мысль его шла к теме жилья. Отцовские квадратные метры он терять не хотел. Здесь же он не был прописан, поэтому на эту комнату рассчитывать не мог. Но отца он мог уговорить поменять комнату, сделав хитрый обмен. Сюда въезжает кто-то из его друзей или знакомых, дед получает комнату в коммуналке дома, где живет Эрик, а там они быстро меняют однокомнатную, где жил Эрик с женой, и комнату в коммуналке на двухкомнатную в том же районе. Светил ему такой вариант. Кто-то из живших поблизости от него хотел разъехаться (какие-то семейные проблемы), но так, чтобы не отъезжать далеко друг от друга. И вариант Эрика им бы очень подошел.

Видимо, допив бутылку, он вошел в мою комнату-кабинет, плюхнулся на диван, но ничего не говорил, сидел молча, только зеленые глаза крутились, как шарики, так он оглядывал комнату. Я сидел перед пишущей машинкой (про компьютер мы тогда только слышали и остряли, что лучше дюжина гусиных перьев, как у Пушкина, чем один компьютер). Я, повернув голову, смотрел на Эрика. Он начал первым:

«Жена твоя сказала, что отец плох. Умереть скоро может. Со дня на день. Мне надо торопиться. Надо было раньше делать, но все время занят был».

На его языке это означало — непробудно пил.

Я пожал плечами: «Делай как знаешь».

«Ну ладно. Я предупредил. Пойду поговорю с отцом, а то он как бы раньше времени не помер. Завтра друган придет, с которым меняться будем. Познакомитесь».

Он вышел из моего кабинета. А я в комнату к Кларине.

«Эрик уверен, что отец умрет не сегодня, так завтра. Хочет, пока отец жив, в ближайшие дни найти обмен. А пока сидит и сторожит, ждет ангела смерти. На днях его *друган* придет квартиру смотреть, чтобы понять, кто соседи».

Мне кажется, Кларина разозлилась не приходу нового соседа, а то, что Эрнест ждет смерти, а Эрик эту смерть караулит.

«Пойди к Эрнесту и скажи, что никакой тяжелой болезни у него нет. Это сосудистый криз, у тебя такой был, да и у меня. Если лежать, то только хуже будет. Надо ходить, ходить гулять. Хочешь, сама скажу, но лучше ты, мужчину он скорее послушает. И дай ему цинаризин».

Я постучался в дверь.

«Ну!» — сказал Эрик.

Я вошел. Эрнест Яковлевич лежал, закатив глаза, казалось, что спал, а может, плохо ему было. Не живой и не мертвый. Я спросил:

«Как вы себя чувствуете? Кларина просила вам лекарство передать».

Не открывая глаз, дед ответил еле слышно: «Скажи спасибо Клариночке, но мне ничего уже не надо. *Не живу и не помираю*. Уж скорее бы на тот свет, отдохнул бы там».

Эрик сказал охрипшим от водки голосом: «Не бойсь, отец. Смерть себя ждать не заставит. Но ты еще поживи, завтра придет Толик, *друган* мой. Хочу пока перевезти тебя в наш подъезд, там за тобой Лидка, жена моя, присмотрит. И обмоет, если что».

Тогда неожиданно жестким голосом я сказал, повторив слова Кларины, но как бы от себя: «Вы, что, тут оба с ума походили? Ничего особенного у Эрнеста Яковлевича нет, это был обыкновенный гиперкриз. Кларина как медсестра запаса понимает в этом. Она и лекарство прислала. У меня такой был, хуже даже, был десять лет назад микроинсульт, и ничего. С такой болезнью можно еще лет пять, а то и десять прожить».

Реакция у отца и сына была разная. Дед открыл один глаз, потом второй, поводит ими, осматриваясь, потом вытянулся на кровати и вдруг сел. Нашупал ногами тапочки и встал. Подошел к двери и сказал мне:

«Клариночке спасибо! А я пойду на улицу, пройдусь. Подышу свежим воздухом. А то здесь все же запах канализации из подвала прет. Не справилась она. Да наш ЖЭК не шевелится».

Эрик сидел, опустив голову.

«Ну это моих планов не меняет, — он поднялся к двери. — Обожди, отец, вместе выйдем. Я до дому пешком пройдусь».

ДРУГАН

Друган Толик появился через пару дней. Это существо было еще крупнее Эрика, одето в драное пальто, от которого пахло немытым телом, а изо рта вонючим перегаром. Сразу вспомнилась Баба Яга, которая всегда спрашивала у спрятавшегося путника: «Кто здесь? Чую русский дух». Наверно, это пахло немытым телом, в дороге ведь не помоешься, а к тому же если и привычки нет...

Первое, что он сказал:

«Что у вас за яма с боковой стороны дома? Чуть туда не бахнулся. А там еще про- вода торчат из нее».

«А ф... его знает, — мрачно сказал Эрик. — Вот Вова, твой будущий сосед, наверно, в курсе, что за с... яму вырыла. А я и не видал».

Пришлось объяснить: «Это прокуратура, она на первом этаже, решила сауну себе сделать, и все копали, проводку искали».

Из своей комнаты их приветствовал Эрнест Яковлевич. Мне Эрик бросил: «Ну ладно, обожди. Мы вначале к отцу. Толик его жилплощадь хочет осмотреть. А потом с тобой хотим посидеть. Может, Адик подойдет».

Надо сказать, что пустую бутылку из-под водки со змеей, которую из Китая привез Адик, дед поставил себе в угол комнаты, а я как-то оттуда забрал. Сам не знаю зачем. Но тут мне захотелось *другана* удивить. Пока они сидели у Эрнеста Яковлевича, я налил в змеиную бутылку обычной водки. И поставил в шкаф.

Кларины и Сашки дома не было. Дочка тосковала в детском садике, а жена читала лекции студентам. Я с каким-то тяжелым ощущением некоей гадости, которая вот-вот случится со мной, вошел в свою комнату. Убрал со стола пишущую машинку, отпечатанные листки сложил в стопку и спрятал в ящик комода, туда же, не очень разбирая, сложил и блокноты с записями. Наброски всегда делал в блокнотах, тетради напоминали школу, и это почему-то мешало. Но фотографию Кларины, которая стояла обычно слева от машинки, оставил (как оберег). Потом подошел к фотографии деда, который смотрел на меня из-под надбровных дуг, такой мудрый черепом. «Где же твой золотой ключик? — спросил я тихо. — Из Аргентины тебе не видно, что здесь происходит. Мне надо как-то определиться». И вдруг дед оказался за столом и улыбнулся мне. Я снова вздрогнул. «Ты снова слепой Тиресий? И снова живой? Как учили древние греки?» — спросил я, зная ответ. «Ну конечно!» — рассмеялся он. Потом сказал самым обыкновенным голосом, которым он, наверно, произносил обычно нечто, что близкие должны были усвоить: «Твое право и твоя обязанность защитить жену и дочь. Семью. Посмотри, конечно, на возможного соседа, но решать надо, исходя из твоих приоритетов. Что для тебя в этой ситуации важнее семьи?» Я пожал плечами: «Ничего, конечно!»

Тут дверь открылась, и в комнату ввалились два существа. Эрик и его *друган*. Оба уже весьма нетрезвые. Они удивились змее в бутылке, пили с наслаждением и хвалили китайцев. «Адик мне тогда еще подарил», — объяснил я Эрику. *Друган*, с вонючим ртом, в котором зубы были частично повыбиты, сплевывал на пол, долго сморкался в большой сопливый платок. Отрыгивая, сказал, указывая на фото Кларины:

«Твоя баба? Ничего, сладенькая, наверно».

«Перестань гадости говорить», — вдруг произнес мой дед.

Эрик посмотрел на меня, на него и вдруг глупо начал хихикать: «Вов, а это кто с тобой?»

«Дед мой».

«А как он сюда попал?!»

«Зашел просто!»

«Да дверь не хлопала, — улыбнулся длинной пьяной улыбкой Эрик. — Он что, просочился? Как змей. Слышь, как деда зовут? Мы ведь с тобой у его могилы познакомились».

Точно, у могилы деда мы столкнулись когда-то. И опережая деда, я сказал:

«Моисей».

«Из Библии, что ли? Иудей? Да пусть и еврей! А меня зовут Толян, Толик то есть. Ну и выпьем за дружбу между народами», — *друган* Эрика вытащил из кармана фляжку с каким-то алкогольным напитком. Говорил он, гнусавя.

«Аргентинец он, — мрачно произнес Эрик, вспомнив, видимо, могилу деда. — А это мой кореш Толян. Мой бывший начальник по инженерной части. Уволили его, хороших людей у нас не ценят. Как, Вов, думаешь? Ценят?»

«По-разному бывает», — ответил я, думая, что я бы тоже этого питекантропа уволил.

«Да один хрен! — сказал Эрик. — А ты, Вов, принеси нам закусочки. Вместе небось жить будешь с Толяном-то. Знакомиться надо получше. В холодильнике что-то есть? Колбаски там, огурчика соленого, рыбки».

Дед молчал. Мужики смотрели на него подозрительно.

«Дед, я сейчас приду», — сказал я.

В холодильнике было полбатона копченой колбасы и сыр. Я пошарил по нашей полке, нашел полпачки сливочного масла, взял буханку черного, нож для хлеба и нож для масла, пару тарелок и вернулся в комнату.

Там уже хозяйничал Эрик. Хоть передвигался он нетвердо, но рюмки нашел. Только я вошел, Толян поднял рюмку и полез ко мне целоваться. Он был огромный и вонючий.

«Отойди, — сказал я, — ты не женщина, чтобы с тобой лизаться. Иди на место!»

Он постоял, покачиваясь огромным телом передо мной, примеряясь, а не вмазать ли мне. Но Эрик погрозил ему пальцем, мол, раньше времени натуру на показывай. И тот сел на свое место.

«А ты грубый, но я с твоим дедом выпью. Моисей, давай чокнемся. Ведь пацаны и в старости остаются пацанами. Я прав?»

Дед ответил уклончиво:

«Наверно. Но я не пью!»

«Какой же ты после этого пацан! А я выпью. Думаешь, я не стою твоего внимания, раз работу потерял. А я скажу, что работают одни с... и п...».

Пока он вливал рюмку в свою гнусную глотку, дед исчез. Никто и не заметил как и куда. Я тоже не заметил, но знал куда. Прямо передо мной на стене висел его фотопортрет работы Сима. Казалось, что он смотрит на меня и качает недовольно головой. Но они тут же о нем забыли. Эрик резал большими кусками колбасу и хлеб. Они открывали свои рты и засовывали туда эти куски. Хотя у Толяна был не рот, а скорее пасть. И рыгал он время от времени, брызгая при этом слюной.

«А помнишь, — прогнусавил Толян, — как мы на работе в начале девяностых бомжатиной закусывали? Там баба была, они с мужем бомжей отлавливали, а баба потом мясо их тушила, чтоб запаха не было, и по пьющим мужикам разносила. А нам все равно, чем закусывать. А на закуску мы ее трахали, а муж ее на атасе стоял. Вот и кореш мой, — он ткнул пальцем в Эрика, — без мяса за выпивку не садился. Привык у мамки вкусно есть. Его дядьки известные на всю округу налетчики были. А у бандитов всегда деньги. Их сестра, жена Эрнеста, отца Эрика, мать его, общак держала».

«Ты бы помолчал! — рыкнул Эрик. — Не твое это дело! И не вздумай про бомжатику отцу сказать! Он таких дел терпеть не может».

Пили они долго, почти час. Потом Толян вдруг поднялся и пошел к двери, почти ничего не видя перед собой.

«Отлить надо. Где у вас заведение?»

Я вышел с ним в коридор и ткнул рукой в две двери возле кухни.

«Слева туалет, справа — ванная комната. Смотри не перепутай!»

Он пошел, задевая плечами за стенки, рыгая и матерясь. Я смотрел ему в спину, думая, что делать, если он шагнет в другую комнату. Но он все же вошел в туалет. И дальше услышал я вначале мат, похоже, ширинку не мог расстегнуть спяну, а потом словно поток полился, так мог мочиться жеребец или матрос, который по приказу своего командира мочился на головы членов Учредительного собрания. Одновременно он выпускал громко газы. Потом громко начал отплевываться. Вышел в коридор, но было видно, что ему стало худо. Открыл дверь в ванную комнату, склонился над раковиной, и слышались клекотание и звук рвоты («Слава богу, — вздохнул я, — что не на пол!»).

Я вспомнил рассказ дамы из Третьяковки, как к заместителю директора по науке пришли две тетки из низшего звена obsługi, жившие в коммуналке при музее (общая кухня, общие ванна и туалет) с жалобой друг на друга. Одна кричала, указывая на сослуживицу: «Ты расскажи товарищу заместителя директора, как ты мне в суп *нассала!*» Вторая отвечала: «А ты скажи товарищу заместителя директора, **за что** я тебе в суп *нассала!*» Тогда это меня, жившего в отдельной квартире профессорского дома, поразило, что они не стеснялись своих слов и поступка. Разговор двух человекообразных самок. А теперь вдруг стало ясно, что везде такое, а профессорские дома — чудом уцелевшие островки.

И я думал, что с ним я не смогу оставлять Кларину и Сашку. Ведь он нигде не работает. Как мне из дому уходить? Кончится все, конечно, грандиозной дракой. Или он меня убьет, или я его.

Раздался звонок в дверь. Я стоял в коридоре, а потому и открыл, но нервно, даже не спрашивая, кто пришел. А пришел Адик Жезлов. Одет он был в хороший парчовый пиджак серого цвета, был чисто выбрит, от него пахло хорошим дезодорантом. Вокруг шеи что-то вроде бирюзового шарфика. И сказал он неожиданное:

«Пришел с Эриком проститься. С тобой, Вова, может, еще и пересечемся, все же из одного профессорского дома. Мой дед мне сказал, что моя инициация затянулась, что дети королей часто водились со всяким отребьем, но потом все же понимали свою роль. Начинаю с небольшого, стал членом городской думы, дед помог, конечно, невысоко, но трамплин неплохой, с него поднимусь выше, буду большую политику делать».

Из ванной вышел Толян, увидел Адика, и какая-то гнусная улыбка поплыла по его красной после блевоты физиономии.

«А это что за мудака парчовый?! Ты, гад, не обижайся. Обидишься, мудаком будешь. Прямо поп! Они же в парче ходили», — откуда-то из недр его бессознательного всплыла эта информация.

«Это Адик! Мой старый кореш, — выплыл из моей комнаты, уже тоже весьма отяжелевший от водки Эрик. — Не обижай его! Пойдем, лучше выпьем».

Они пошли в мою комнату, а я на кухню, нейтральную территорию, где стоял телефон. Я был очень напуган. Жить в одном помещении с этим чудовищем, пользоваться вместе туалетом, ванной, дышать его испарениями, вдыхать его запах, даже помыслить это — ужас! И я набрал телефон Инги.

Вопрос был один: «Как мне сделать, чтобы обмен не состоялся?»

И ответ был простой: «Найти квартиру для Эрнеста Яковлевича. Как? Я подумую и позвоню тебе. Да и в гости к нам зашел бы».

Тем временем Толян вместе с Эриком вышли из комнаты и, поддерживая друг друга, двинулись к входной двери. Следом двигался Адик. Он вышел на площадку вместе с Толяном. Эрик тяжело вздохнул и, спотыкаясь, вернулся не ко мне, а в комнату к отцу. Он спал на ходу. У отца он и остался ночевать.

Я услышал, как Адик сказал алкашу Толяну:

«Только не иди рядом со мной, ты воняешь. Да вообще мне в другую сторону».

Утром Толяна нашли. На обратном пути он попал в яму перед прокуратурой, оголенные провода были под высоким напряжением. Он и не мучился. А когда падал, наверно, и не заметил, что падает. Слишком пьян был. И все забыли о нем, словно и не жил. Только Эрнест Яковлевич ворчал, что, мол, интересно, кто его туда, в яму, подтолкнул. Эрик на эту тему говорить не хотел.

А через день пришли смотреть комнату Эрнеста мужчина и женщина, муж и жена. С ними был маленький плачущий ребенок. Для нормальной жизни это тоже был не вариант. Я улыбался им, но понимал, что жизнь станет воистину коммунальной — с плачущим ребенком и молодой парой, которая тоже претендует на квартирное пространство. Но через день мне позвонила Инга.

ВОРЫ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ

Она пригласила меня на вечеринку. Сыну ее исполнилось семь лет. И добавила, что и для меня у нее есть очень важная новость. Уже был конец ноября. Лил противный дождик. Я взял зонтик, сунул в портфель томик Чехова и свою только что вышедшую книгу о соотношении литературы и философии с рассуждениями о большом и малом времени. Пока я ехал, то сам с удовольствием открыл эту свежую книгу, у меня было несколько сигнальных экземпляров, а, как я понял, Инге было лестно, что ее сосед еще и книги пишет. Когда я в самом начале знакомства подарил ей книгу, она спросила:

«Ты сам это написал? Ты что, писатель?»

«Ну да, — ответил я. — Но еще и профессор, это книга научная».

«Вон ты какой, оказывается!»

Потом она это повторяла как само собой разумеющееся, что вот какой у нее сосед!.. И даже хвасталась мной своим приятелям. Вот тогда решила приятность для меня сделать, свою сотрудницу Валю мне подложила. Я оказался, по ее понятиям, человеком почти ее уровня. А может, и выше.

Обыватели любят дружить с учеными и писателями.

Оставив Чехова на обратный путь, я читал свой текст и подчеркивал то, что отвечало сегодняшнему настроению: «Обращаясь к литературе, философ должен требовать от нее этого дыхания большого времени. Иначе невозможен контакт. Тогда нет того, что в старину называлось «стремлением к высокому», на чем и вырастали великая литература и великая философия. В советское время великими называли А. Фадеева («Молодая гвардия»), М. Бубеннова («Белая береза»), С. Бабаевского («Кавалер Золотой Звезды»), В. Ажаева («Далеко от Москвы»), за которые эти писатели получали премии, о которых писала критика. **Писатели, которые, будучи нежитью, считали себя существующими.** О них помнят историки литературы, которым удобно с ними работать. Но в «большом времени» остались Мандельштам, Ахматова, Платонов, Булгаков, Замятин. Кто про них тогда знал? Они не существовали для тогдашнего как бы литературного процесса. Их как бы не было. Но именно они стали в конечном счете предметом философского анализа, потому что **философия занимается жизнью и смертью, но не нежитью. Нежить — это не для философов, а для магов.** Пушкин (он всегда и везде), Мандельштам, Ахматова, Платонов, Мих. Булгаков и другие мной названные и не названные подлинники писатели были потерпевшими крушение на острове безвременья жители большого времени».

Вот большое время — это и было место, где жили те, кому я хотел следовать.

Гонорара я не получил, книга издавалась по гранту Фонда РГНФ, автору денег не полагалось. Да и зарплату мне на работе не платили, выдали справку, что пода-тель сего имеет право ездить бесплатно в городском транспорте, поскольку уже два месяца не получает зарплату. Я напомним тогдашнюю шутку: *Сегодня мы живем хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра*. Я ехал и листал книгу, с каждой минутой все больше сомневаясь, что я выбрал правильный презент. Но уже ехал. Воображал, как будут спрашивать: «Много ли получил за книгу?» — «А несколько!» — «Так не бывает! Зачем же тогда пишешь?» И что на это отвечать? Тем не менее я доехал до их дома, прошел через двор и подошел к подъезду. Дом был одиннадцатизэтаж-ный. В подъезде, кроме домофона, консьержка. И я подумал, как хозяева жизни без проблем решают свои жилищные проблемы. И даже позавидовал им. Что там — большое время, когда жить приходится в малом да еще ощущать себя нежитью. По-тому что о быте думать не надо, а я думаю. Я отложил свою книгу, взял томик Чехо-ва, но все же решил, что открою его на обратном пути.

Я сказал консьержке, к кому я. Она позвонила по телефону, проверила, потом махнула рукой в сторону лифта. Я поднялся на шестой этаж. Квартира шестьдесят шесть. Позвонил. Открыла Инга, стройная, раздумывавшаяся, с подведенными гла-зами, обнаженными плечами. Квартира была шестикомнатная, и самая большая ком-ната напоминала гостиную из старых книг. В этой гостиной хозяйка и принимала гостей. По комнате были расставлены столы, на них бутылки с вином, водкой, ко-ньяком и виски. На любой вкус и желание. Вдали, на втором или даже третьем пла-не, увидел Валю, которая мне улыбнулась, но подойти не решилась. Я надписал книгу и протянул ее хозяйке. Инга подняла книгу над головой и громко сказала, что в гости пришел со своей новой книгой *настоящий писатель*. И посадила меня за стол рядом с одной из богатых своих подруг, сказав, что ее зовут Ирена. Та мо-ментально налила мне виски, сказав, что такой мужчина, как я, наверняка предпо-читает виски. Уж что там Инга про меня наговорила!.. Конечно, писатель, профес-сор, за рубеж ездит. Внешний рисунок, наверно, впечатлял.

Я с тревогой оглядывался среди чужих людей, непривычных, казалось, от них даже пахло по-другому. В глаза вступил туман, а дальше все увидел сквозь пушкин-ские строки:

И что же вижу?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;

Лай, хохот, пенье, свист и хлопок,
Людская моль и конской топ.

Моя соседка была в черно-белой накидке, типа монашеской, серебристом плаще с короткими рукавами, немалым декольте и дорогим ожерельем вокруг шеи, которое, надо сказать, было ей очень к лицу. Но глазки маленькие. Я смотрел на бриллиантовые сережки, дорогое платье, на изящные туфельки, невольно замечая и мужские дорогие полуботинки ее спутника, который чокнулся со мной и больше внимания на меня не обращал. И носили они все свои дорогие шмотки как привычное. Но женщина явно начала тянуться к художнику, то есть писателю, то есть ко мне. Однако что-то свинское было в ее движении.

А я вспомнил, как всего года три назад я стоял в длинной очереди, тянувшейся с улицы в магазин: там были выброшены приличные мужские ботинки. Когда я достоялся до прилавка, моего размера уже не было. Я хотел уйти, но сердобольная продавщица сказала тихо: «Берите любой размер, мужчина. Потом с кем-нибудь поменяете». Так я и сделал, но меняться я не умел, и ботинки долго кочевали со мной по разным квартирам. И еще всплыла сценка. В 1991 году я получил немецкий грант на поездку в Германию. Стипендия была маленькая, но все же мы поехали вместе с Клариной. Жили мы экономно. К концу нашего пребывания стало понятно, что мы можем позволить мелкие покупки. Мы пошли в самый простой немецкий обувной *Deichman*, где в разделе женской обуви я предложил жене выбирать себе туфли, какие ей понравятся, но все же только одни. На другую пару денег не хватало. Кларина ходила вдоль полок, примеряла то одни, то другие туфли. И вдруг зарыдала и выскочила из магазина. В растерянности я вышел следом, чувствуя себя виноватым непонятно в чем. Она рыдала совершенно по-детски, как может рыдать любимая женщина, знающая, что ее пожалеют. Я прижал ее голову к своему плечу, бормоча:

«Ну что случилось? Успокойся, девочка».

Сквозь всхлипы она проговорила:

«Я не могу. Мне никогда еще не приходилось выбирать».

Туфли, мы, конечно, купили, а потом в последний день она увидела, что куртка, которая ей понравилась, продается со скидкой почти в два раза дешевле. В этой куртке она долго ходила. Я смотрел на наряды богатых гостей Инги и думал, что у них, наверно, не было таких радостей. Соседка нагнулась ко мне и спросила:

«Вы на машине? А какая у вас марка?»

Ей и в голову не могло прийти, что профессор писатель, да еще едущий в Германию, может обходиться без машины. И я нейтрально ответил, чтобы выглядеть на уровне их благосостояния:

«Ничего особенного. Самая обыкновенная. Я обычно на ней по городу езжу».

Соврав так пошло, я почувствовал себя мелкой гадиной.

«А я „ауди“ люблю, — сказала соседка. — Самая надежная. Вы согласны? Муж из Европы перегнал. Секонд-хенд, но как новенькая. Для меня это спасительница. Как-то я ее забыла, ехала в наше подмосковное имение, когда-то там была усадьба предков моего мужа. Мы ее обустроили, три этажа. И вот я без машины доехала на электричке до нашей станции. Пошла через кладбище, так быстрее минут на пятнадцать. Зима, узкая тропинка, все как всегда. Вытаскиваю руку из кармана, за варежку цепляются ключи и вылетают в сугроб. Прямо на могилу. Ступор полнейший. Меньше всего в жизни хочется копаться там. Но в голове засела мысль: домой без них не попаду. Ладно, по фиг, лезу. Мысль крутится. Шуршу в сугробе. И тут идет му-

жик. А я сижу у могилы, разрываю снег и жалобно так оправдываюсь: „**Домой не могу попасть...**“ Мужик ошалело посмотрел на меня и вдруг бросился наутек. Тут до меня дошло, что я сказала, что я назвала своим домом могилу, и начала ржать. А мужик, наверно, больше не пойдет через кладбище... Забавно, не правда ли?»

Я промычал, что, мол, да, что у моего немецкого приятеля „ауди“, что мне нравятся и ее комфортабельность, и ход. А сам думал и был уверен, что деньги у них ворованные, что на зарплату такое себе позволить нельзя, если ты не жена владеющего подземным черным золотом олигархом. В западной литературе я в юности читал другое слово — магнат. Но кто-то из истеблишмента, показывая свою грамотность, пустил древнегреческое словечко «олигарх». Ну а олигарх не вор?..

Подошла Инга: «Это наш классик», — сказала она обо мне приятельнице, приобняв за плечи и прижавшись к спине грудью. Ведь если знакомый, тем более бывший сосед, пишет умное, значит, он *нечто*. Но муж Георгий увидел и погрозил ей пальцем. Инга ко мне неплохо относилась, не очень понимая, что я делаю, но явно симпатизируя, по-женски разумеется. «Хочешь, я тебя сведу с нужным человеком? Это приятель моего покойного отца. Он тоже полковник ФСБ, — сказала она как о чем-то само собой разумеющемся. — Сын подрастет, я его к нему в школу ФСБ отдам. Пусть делу научится».

Мы подошли к обритому наголо мужчине, который сильными пальцами ломал кусок твердого сыра. Я не удержался. Слишком длинный язык:

«А что, следите здесь за кем-то?»

Он отмахнулся:

«Вот еще! Всякой перхотью заниматься!..»

Не было у меня с моим полудиссидентством таких знакомых, по привычке побавивался их.

Вдруг он наклонился ко мне и по-простецки спросил: «А Инга как-то сказала, что ты Андрея Жезлова знаешь... Это правда?»

Я растерялся и все же спросил: «Адика? Ну да, мы с одного двора. А зачем вам это?», оставаясь «на вы».

«Да хотел понять, свой он или нет! Адик, говоришь? Хорошо. В такое место идет работать, должно быть без проколов».

Мы отошли с Ингой, сели за стол. Она налила два стаканчика виски, себе и мне. Снова похлопала меня по плечу. Спросила:

«Ручка есть?»

Я полез в боковой карман за шариковой ручкой. Но она протекла, карман был в синей пасте, да и рука тоже. В те времена уже были шариковые ручки, но вот стержни для них опустошались быстро, заряженных новых в продаже не было, вот народные умельцы, видя тягу горожан к цивилизации, и стали под давлением заправлять стержни специальной пастой. Но она текла и пачкала руку и карманы.

«Ой, — воскликнула она, — возьми салфетку и вытри руку. А теперь запиши телефон Лидии Андреевны, она все эти дела оформляет. Только с пустыми руками, как в прошлый раз к этому дядьке, идти нельзя. И учти: к ее зданию переход почему-то отсутствует, смотри зорко, перебегай быстро. Вот глянь на эту картинку: „ПЕРЕХОД НА ТОТ СВЕТ“. Это шутка, но смысл в ней есть». Она протянула мне картинку. Я усмехнулся, но как-то криво.

«И учти: она поклонница русского фольклора, поэтому не очень удивляйся разным там картинкам у нее. Понял?»

«Понял».

Не хотел, но, похоже, выхода не было. Надо было и эту дорогу перейти. Хоть и жутковато. Только дико было все это слышать в обычной московской квартире.

Я вытер руку, мы выпили еще по стаканчику. На нас уже никто не обращал внимания, было много выпито, и гости разбились по интересам на маленькие компании. Но вопрос она задала сильно понизив голос, почти шепотом.

«А Эрнест сидел по какой статье? Знаешь?»

«Кажется, пятьдесят восьмая, измена Родине».

«Так это хорошо! Пятьдесят восьмая уже давно пересматривается, а сейчас решили, что если ээк реабилитирован, восстановлен в правах, то и жилищные условия его должны быть улучшены. Короче, он имеет право на отдельную квартиру».

«Ну и что?»

«Ты что, чумовой? Он получает квартиру. А ты его комнату. Вот у вас и отдельная трешка».

Полковник услышал:

«Не тушуйся. Главное — нужные бумаги собрать. А именно: с какого года он прописан в Москве, справки с места работ и где его арестовали. Если в другом городе, то в Москве жилплощадь не получит. Но ты справишься, Владимир Карлович. Инга говорила, да и я вижу, что ты настоящий пацан, правильный».

Я кивнул полковнику:

«А могу ли я, если что, обратиться к вам за советом? Только я не знаю, как вас зовут».

«И не надо. Называй Иван Иванович! Это проще запомнить. Да! Только учти, что постановление о реабилитированных действует только в этом году, до конца декабря. Месяц сроку! Торопись! И правильное заклинание произнеси!» — засмеялся он.

«Хорошо! Спасибо!» — и я начал прощаться, хотя всем и так уже было не до меня. Только Валя мне улыбнулась женской улыбкой и помахала рукой. Я послал в ответ воздушный поцелуй. Нужны были деньги. Они у меня были, небольшая денежная немецкая литературная премия, которую я отдал на хранение старому другу.

МЕСЯЦ СРОКУ

Следующее утро началось с визита похмельного Эрика. Он даже к отцу не зашел, а попер сразу в мою комнату, спросив только:

«Баба с дитем дома? А то мне с тобой по-мужски поговорить надо! Хочу все же отца отселить к себе поближе. Толян, конечно, нажрался и лапти откинул, а эта пара молодая не захотела. Женщина думала, что ей удастся тебя отселить, а как увидела, что ты с женой и девчонкой, дочкой то есть, поняла, что им не светит. И отвалила. Но я все равно буду варианты искать... Что скажешь? Ты бы тоже поискал подходящих тебе...»

Я кивнул:

«Я об этом думал. Но получил предложение, которое и тебя заинтересует. Ведь комнату в коммуналке, где будет Эрнест Яковлевич, и твою однокомнатную ты сможешь только на двушку обменять. А две однокомнатных запросто на трешку поменяешь. Что лучше?»

«А где я вторую однокомнатную достану? Какие-то ты, Вова, сказки рассказываешь! Или пургу несешь».

«Послушай, — возразил я, — у меня информация: власти дают отдельные квартиры безвинно репрессированным. Эрнест живет один — и в коммуналке, значит, может претендовать на однокомнатную квартиру. Сделать это надо быстро. Через месяц срок постановления об этой льготе кончается!»

«Чего же ты раньше молчал, гад?!»

«Слушай, давай не будем попусту скандалить, не нарывайся!.. Сам должен был знать. И не смей на меня голос повышать!»

Его черные волосы нависали над его небольшим, но выпуклом лбом, как козырек кепки. И глаза немаленькие, но с каким-то узким разрезом, какой-то линией, словно проходящей посередине зрачка, глаза, которыми он уставился на меня, напомнили мне глаза гадюки. Бандитские глаза, глаза человека, который может за просто зарезать. Хотя алкогольная тяжесть немного снимала злость и остроту взгляда. Подумав минуты две, он начал говорить, довольно тяжело, словно что-то ему мешало:

«Вот что, Вова, не очень я верю нашей власти, ты веришь, дело твое. Может, у тебя и получится. Но не тяни, б..., а то обижусь и рассержусь. Даю тебе месяц сроку, отец плох, боюсь, дольше не протянет. А то я с тобой буду короткий разговор иметь!»

«Не пыли, — ответил я в его тональности. — Больше месяца ни у меня, ни у тебя нет. Постановление действует только до конца декабря. Я постараюсь, насколько могу, все документы собрать, но какие-то придется тебе доставать, ты же сын, и фамилия у тебя такая же».

«Нет, ты взялся, ты и делай. А я, если очень надо будет, подключусь».

Он смял зубами папиросу и закурил, сказал покровительственно:

«Давай действуй. Надо ведь еще прописку получить. Ладно, продлим срок. Даю тогда два месяца. Но уже с ордером чтоб».

«Хорошо. Сегодня 10 декабря. 10 февраля получишь ордер. Но ты хоть доверенность для меня у отца возьми, что имею право выписки из его бумаг просить».

«Сам и проси у отца. Он тебе не откажет. А я домой поеду, обмою все это дело».

«Нет уж!» — я взял его за предплечье и повел к Эрнесту Яковлевичу. На мое удивление никаких мышц под пиджаком Эрика, который с виду был бык, буйвол, я не обнаружил, да и упирался он вяло. Мы вошли в комнату к его отцу, тот полусидел на диване, откинувшись на спинку дивана, надел очень сильные очки, рядом лежала маленькая стопка газет, а в руках он держал книгу рассказов Сигизмунда Кржижановского, тогда еще почти неизвестного. Как он нашел его, что в нем увидел, в этом польском, писавшем на русском, Кафке или Борхесе? Я откуда-то (из семейных рассказов) знал, что он был сценаристом двух гениальных, отчасти сюрных, комедийных фильмов — «Праздник святого Йоргена» и «Новый Гулливер». Фильмы я смотрел в детстве и помнил их долго, до сих пор помню. К тому моменту, как я увидел Кржижановского в руках Эрнеста, я уже знал про писателя и философа, не печатавшегося при жизни и умершего в 1950 году, а где могила, так и неизвестно до сих пор. Возможно, писателя этого дали Эрнесту инженеры с военного завода, где он работал как слесарь и токарь, был классный мастер. А в советское время инженеры были главными интеллигентами и читателями полузапретных книг. Эрнеста, видимо, считали своим, все же бывший зэк, слесарь-мастер экстра класса. Увидев сына, который вошел в комнату первым, Эрнест Яковлевич сурово спросил:

«Чего надо?» — но увидев меня, улыбнулся мне навстречу. Ко мне он хорошо относился: «Видишь, пытаюсь читать. Все тренировать надо, и глаза тоже. Это твоя Клариночка сказала. А тут интересно, письма про Москву, рассказы такие. Он пишет, что у Москвы, как у живого существа, есть нечто, что втягивает в себя человека».

«Слушай, отец. Оставь ты эту литературу, и так голова пухнет. У нас тут вопрос: ты мог бы написать для соседа доверенность на получение справок с твоих старых работ, до того, как ты попал в лагерь и на свой последний завод? Эту справку заверим без проблем. Вова заверит. Вова узнал, что ты имеешь право на отдельную однокомнатную квартиру как репрессированный. Но только надо собрать все справки о том, что ты в Москве жил до войны, надо все успеть в этом году».

Похожий на Крючкова, игравшего в старости простых советских рабочих, Эрнест Яковлевич пожевал губами и сказал: «Напишу, а ты заверь в домоуправлении». Сел к столу, вырвал листок из блокнота и написал несколько строк. Протянул мне: «Сходишь?»

Я знал, где наш ЖЭК, сто раз туда ходил, оформляя прописку. А с девушками от туда я был в милых отношениях, принося то шоколадки, то жвачки, которые набирал за мелкие деньги во время случайных выездов в Европу. Поэтому его доверенность они мне заверили быстро. И я пошел по административным отделам тех заводов, где работал Эрнест, и ЖЭКом тех квартир, где он жил до ареста. Надо было доказать, что он был москвичом, когда его арестовали. Я обежал все его работы, чтобы собрать справки, что с 1918 года он работал в Москве. Но в 1938 году все оборвалось. С завода в 1936-м его отправили в Испанию. Там работал на аэродроме. Вернулся в 1938-м. Сразу отвезли в санаторий, не завозя домой. Месяц отдыхал, под конец отдыха приехали за ним в санаторий и арестовали.

Таскаясь по городу, я выпросил у Эрнеста книжку Кржижановского с рассказами про Москву и читал ее дорогой. Бежали дни, приближался конец месяца. Наконец возник решающий пункт. Я поехал в санаторий, из которого кагэбэшники увезли Эрнеста на Лубянку. Но там мне сказали, что «после ареста данные о гражданине Даугуле были вычеркнуты из всех книг, да и давно это было, еще до войны. Обратитесь в соответствующий отдел ФСБ». Уже вместо КГБ стала ФСБ. Все мои друзья (я вообразил их лица) заиздевались бы надо мной, узнав, что я обратился за помощью в органы.

Нужна была, стало быть, справка из органов. В органы идти сил не было, я позвонил Эрику, который мрачно ответил, что никуда не пойдет, что он занят. Судя по голосу, он пил уже не один день. Оставалось два дня до подачи документов. Кларина как настоящая женщина, которая борется за свое гнездо, вначале уговаривала меня, но время шло. Она сняла трубку и позвонила на Лубянку. И объяснила ситуацию, сказав, что проблема у героя войны из-за ареста. Говорила с напором, голос дрожал, нервничала. Оставалось два дня до подачи документов в жилкомиссию. Молодой голос (представился как старший лейтенант) сказал жене, что подготовит документы через неделю. Кларина твердо сказала, что надо завтра. «Хорошо, — ответил голос. — Мы перед ним виноваты. Поможем. Приезжайте завтра».

У моему удивлению, в органах жену встретили вежливо, лейтенант предложил ей стул, потом стакан чая, предложил посмотреть бумаги, она пожала плечами, сказала, что полностью им доверяет, и в самом деле все бумаги были готовы, уложены в конверт, на котором была соответствующая печать. Приехала Кларина, довольная, прямо-таки гордая. И я позвонил Инге.

СОБЫТИЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ

«Хорошо, — сказала она, — молодец. Я сейчас же позвоню Лидии Андреевне. Завтра еще 30 декабря, она на службе, все бумаги отвезешь ей да конверт с печатью из органов сверху положишь. И еще, ты извини, но ты говорил, что в поездках ты немного валюты заработал... Ее надо, не говори мне сколько. Но когда бумаги ей отдашь, спросишь, когда зайти за результатом и сколько».

«Так просто и спросить — сколько?»

«Так и спросить. Она понимает все. Наверно, тысячи полторы тебе это обойдется. А результат после Старого Нового года. Не раньше».

Я положил трубку и сказал Кларине:

«Завтра бумаги, через месяц результат и полторы штуки баксов».

Кларина вздохнула:

«Но у нас только полторы и есть. А если больше попросит?»

«Чего делать? Буду по друзьям и знакомым занимать».

«Да они все такие же бароны без гроша, как и мы».

«У всех понемногу!.. Наберем».

Но уверенности не было, сердце билось неровно, я боялся ехать. Не мог придумать, что отвечать, если попросит больше. Просить подождать?

Утром 30 декабря я позвонил по телефону начальнице и поехал к ней, к Лидии Андреевне. Шоссе и впрямь было без светофоров, вернее, светофоры были — метров пятьсот в одну сторону и пятьсот в другую, но до них добираться было тяжело, а нужный дом стоял прямо перед тобой и манил, а машины неслись в обе стороны без промежутков, не сбавляя ни на секунду скорости, как по автобану. Своего рода злокозненная преграда, как в волшебных сказках. Дорогу я перебежал удачно, подошел к четырехэтажному серому зданию. И пробормотал, сам про себя усмехаясь своей глупости: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом».

Хотя это была еще та избушка: простенькое снаружи здание внутри было необычным. Ее контора находилась на втором этаже. У тяжелых дверей подъезда стоял вохровец. Я поднялся на площадку второго этажа, там цвел мраморный и малахитовый китч, зелень цветов, шикарная цапля, роскошь лестницы немного пугала, словно входил в замок волшебника, какого-то Карабаса-Барабаса, хотя знал, что ждет меня там женщина-чиновница. По местным масштабам — немалая начальница.

Я прошел еще пол-этажа и постучал в дверь. Впустила меня Сама. Полная, с укладкой волос, как в советских фильмах, в сером твидовом костюме, яркая блондинка в тяжелых очках. Окно плотно зашторено. Но зато электричество горело ярко. И давало странный красноватый отсвет в ее глазах, который был виден сквозь очки. У стены искусственное дерево вроде не то фикуса, не то дуба, вокруг которого обвился сотворенный из полудрагоценных камней трехглавый Змей Горыныч. Я обходил роскошный кабинет, роскошь была вульгарная, но роскошь. Дубовый стол был покрыт, как положено, зеленым сукном. На нем стояли мраморное пресс-папье, малахитовый зеленый письменный прибор, из малахита же была и круглая карандашница. Такой мощный китч. Лидия Андреевна смотрела прищуренными глазами, но с доброжелательным, я бы сказал, интересом за моим осмотром, как музейный работник за движением любознательного посетителя. «Нравится?» — спросила она. Я кивнул. Указывая на Горыныча, усмехнулась: «А этот меня защищает от случайных гостей». Я тоже вяло улыбнулся. Повторю: в глазах ее горел красный отсвет. Вроде как у рентгеновского аппарата старой конструкции. Рентген я вспомнил не случайно.

Я сел на край стула, рассказал о своей ситуации, стараясь правильно выбирать слова, никого не ругая и не обвиняя. Выслушав меня, она еще раз усмехнулась, сказала: «Присядь и выкладывай, что там у тебя. О, до органов дошел, молодец! В конце января приходи, подготовлю бумаги, — это патерналистское тыканье как бы облегчало общение. — Сколько, спрашиваешь? Полторы, не меньше. Нормально».

Я ответил утвердительно, стараясь не выказывать своей радости, про себя поражаясь ее рентгеновскому взгляду. Попросила все, что у нас было. Не меньше, но и не больше. Прямо ведьма или инопланетянка. Насквозь видела. Договорились, что в конце января я ей позвоню и спрошу, когда можно прийти, о наших делах ни слова. Я вышел на замороженных ногах, все случилось, как мы хотели, хотя

нечистая сила явно руку приложила. Голова дубела. Разве нечистая сила на нашей стороне?

Короче, я ехал на трамвае домой и читал Кржижановского. «У нас как у нас. Не Геликоны и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее московское семихолмье; вместо песен цикад — укусы малярийных комаров; вместо девяти Аонид — тринадцать сестер-трясовиц. Аониды учат мерно пульсирующему, в метр и ритм вдетому стиху; трясовицы знают, как пролихорадить и порвать строку, всегда у них трясушущая, нервно роняющая буквы. Заклятия не берут трясовиц. Они живы. И близко: тут. Встречи с ними опасны. Но всего опаснее — с Глядеей. Глядея умеет одно — *глядеть* — и учит только одному — *глядеть*. У людей глазницы не пусты, но глаза в них то пусты, то полны, то видят, то не видят, то рвут лучи, то позволяют им срастаться снова; то опускают веки в сон, то раскрывают их в явь. У Глядеи голые глаза: век нет — оторваны. Некий брезгливый иностранец, посетив Москву еще в двадцатые годы прошлого века, потом жаловался: „В Москве я открыл пятую стихию: грязь“».

И конечно, поразительное наблюдение, что Москва стала каменной благодаря *копеечной свечке*. «С упорством, отнюдь не копеечным, она жгла да жгла Москву из года в год, пока та от нее в камень не спряталась». И поразительная работа архетипа — на пепелище ставились дома на скорую руку, *скородома*, готовые вот-вот развалиться, все равно им гореть. Хрущобы, где живет большинство, строились по такому же принципу. Пусть хоть десяток лет простоят. А что же это за большинство? И об этом Кржижановский написал жестко: «Домики, строенные наскоро в расчете на пять-шесть лет, садились, давали трещины и, покривившись набок, с нетерпением ждали пожара, а он все медлил; и жизнь оказывалась выбитой из колеи, недоуменной и растерянной. Но все умершее недожитком, до своего срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца *не мертво*, ни живое здесь полно не живо: потому что как и жить ему среди мириадов смертей, среди чрезвычайно *беспокойных покойников*, которые хоть и непробудны, но все как-то ворочаются под своими дерновыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить».

ВОТ И НЕЖИТЬ! Хотя, наверно, сейчас она существует по другому принципу.

И всяческие философические мысли крутились в голове, мысли о мироустройстве. Хорошо было Данте, была опора на христианские конструкции. Говорят сейчас, что где-то в космической дали ученые нашли «Обитель Бога». А ведь похоже на правду.

Но где «Обитель Зла»? На Земле, под Землей? Под Землей могут жить хтонические существа, которые иногда высылают наружу своих посланцев: ядовитых змей, сколопендр, ядовитых жаб, крокодилов и т. д. А в пещерах, которые змеятся под землей, затерянных подземных мирах, или в страшных джунглях? А бандиты? Где они скрываются? И как соотносятся с ними обычные обыватели вроде меня? Как нарисовать картину мира?

Итак, в космических пространствах «Обитель Бога», оттуда приходят, возможно, ангелы и святые. А мы? Пока не в Аду? Хотя все жуткие войны — это же явленный на Земле Ад. Нас он пока не коснулся.

А мы живем среди нежити. В пространстве, где все смешалось и спуталось. Ехал и смотрел в окно. Чувствовал, что нездоровая голова рождает нездоровые мысли и, как леший, затягивает в чащобу. Текла Яуза, мутная, узкая, зеленоватая. Вышел на трамвайной остановке. Там стояла старуха, уже пьяненькая, и обращалась к двум

женщинам, очевидно матери и дочери: «И желаю вам, милые, чтоб все у вас было хорошо. И чтоб дочка удачно замуж вышла, и чтоб муж был хороший, и чтоб квартира не меньше двух комнат, и детей чтоб тоже двое, мальчик и девочка. Вы не думайте, что я, оттого что всем добра желаю, какая-нибудь святая. Я обыкновенная, но многие думают, что святая. Может, и вправду. Да мне-то это все равно. Хорошо, конечно, чтоб правда так было. Тогда рядом с Богом бы себе местечко вымолила. И делов-то — всем добра желать! А награда большая». Сама маленькая, сучулая, невымытые волосы в две косички. Вроде мелкой Бабы Яги...

ВОКРУГ ОРДЕРА

Пошел через деревья к дому. Мела легкая снежная поземка. Воздух при этом был хоть и декабрьский, но промозглый. Европейское Рождество уже прошло, хотя в России пьют и на католически-протестантское, и на православное. Я вспомнил, как 24 декабря бушевал в комнате отца Эрик. В подъезде слышно было, как в подвале текла вода. Дома меня ждали Кларина с Сашкой, Эрнест и наши тараканы. Кларина была в хандре:

«Как надоело жить в выгребной яме! Опять запах по всей квартире! Словно в общественном сортире! Даже если у тебя все сладится, получится, систему не изменишь! В этом дело».

Надо сказать, я малость разозлился, хотя ее настроение понимал, но столько приложил сил, чтобы решить квартирный вопрос, а тут получается, что мотаюсь зазря.

«Хорошо, — сказал я, — видимо, мне надо прекратить все свои попытки. Давай жить, как живем, да еще и с соседями!»

Жена почувствовала, что не ко времени перегнула палку. Подошла ко мне, поцеловала: «Ну прости, просто утомительно жить так». Мы поцеловались, мир не нарушился. Она сказала, что еще и Витек заходил и требовал хозяина. Я наскоро рассказал Кларине, что мы вроде укладываемся финансово в требуемую сумму. Самое интересное, что слово «взятка» мы вслух не произносили. Кларина была довольна, что мы справляемся с проблемой сами, без посторонней помощи. Она позвала меня на кухню (с разрешения Эрнеста Яковлевича мы обедали не в своих комнатах, а на кухне), налила тарелку супа. Мы поели, я выпил непременно чашку кофейного растворимого напитка, настоящего кофе мы давно не видели, и я сказал, что иду к Витьку.

Виктор из мебельного (продавал среди прочего ручки к комоду, краденые, за сто рублей штука) всегда говорил, когда его просили о помощи: «Зайду завтра». И не заходил. Так почти каждый день. Голова с залысинами, ворот рубахи расстегнут, виден болтающийся крестик. Худой, даже тощий, непонятно, на чем держатся штаны. Поэтому к нему всегда ходил я сам. Магазин был в торце нашего дома. Увидев меня, он отмахнулся: «Да не принес я. Я дома не ночевал. У Ольги был. Я уж Стасу говорил, чтоб зашел и тебе сказал. А я дома так и не был. Там ручки лежат, четьре штуки. Здесь шесть, а там четыре. Сегодня домой поеду. А то я к Ольге попал. Знаешь, как любит? Как швейная машинка. Еле выдерживаю. Вон глянь под рубахой: засос прямо под грудью».

У него, как у любого мужичка из простонародья, была склонность называть имена, будто собеседник их знает, а имена придавали как бы правдивость рассказу.

Ему принадлежала классическая формула. Как-то он обещал зайти в десять. Уже двенадцать, его все не было. Я спустился в магазин. Мужики в подсобке, где была

и мастерская (комната за торговым залом), склонились над столом и играли в карты. Он тоже. Трогаю его за плечо: «Витя, я же тебя жду». Витек недовольно повернул голову: «Сказано в полвторого, значит, в полвторого». Говорить больше было не о чем. Дома эта фраза стала поговоркой. Когда кто из работяг опаздывал, то Кларина пожимала плечами: «Полвторого — так полвторого».

Витек — фигура подвальная, морда простодушная и дикая одновременно. Он же, как-то выклянчивая у меня что-то, делился: «Я на зоне немного был. Два года, недолго, дядька выручил». Дядькой он гордился, настоящий вор в законе: «двенадцать лет отсидел, его блатные уважают как отца родного. В Москву ему нельзя, так он не стал околачиваться где-то на сотом километре. Деньги были. Когда вышел, то дом трехэтажный себе в Калуге поставил, мебель бархатная, серебро. Вниз еще два этажа. Там всякое оружие собрано. Земли сорок соток, ему хватает. Ограда, охрана вооруженная. Собак нет, да к нему и так мало кто сунется. Внизу два пулемета, маленькая гаубица! Да я не брешу, гадом ползучим быть! Ей-ей! Стол всегда накрыт, приходи и ешь, что хочешь, пей, что хочешь. Он меня обещал в завещании упомянуть. Хочешь, я для тебя у него гранату попрошу?» — «Зачем мне граната?» — «А вдруг ты попал, когда ни убежать, ни победить. Тогда кольцо сорвал, и себе под ноги. И тебе капец, но и им. Так по-мужески, как настоящий пацан. Так прощу?» — «Пожалуй, обойдусь». — «Да ты не бзди, задаром принесу». — «Нет, не надо». — «Зря! Дело говорю!»

Я накинул теплую куртку, надел кепку (все же поземка), прошел провонявший подъезд, завернул за угол и очутился в мебельном.

«Тебе Витек? — спросил директор, стоявший у кассы. — Он в подсобке».

Я прошел насквозь комнату, заставленную образцами мебели для продажи: диваны, шкафы, столы, стулья и тому подобное. Войдя в подсобку, увидел Витьку и трех работяг, сидевших за маленьким столиком в окружении разных частей мебельного гарнитура. Пахло стружками и мебельным лаком. Физиономии у них уже были алкогольно-красные. Около ноги Витьки стояла бутылка «Жигулевского» пива. На полу валялись гвозди и шурупы. Когда я вошел, он как раз поднял ее и припал к горлышку. Я похлопал его по плечу.

«Слушай, тебе жена деньги отдала, а ты обещал наши законные две ручки к дверям. Мы ведь их оплатили».

«Не бзди, — ответил этот субъект. — Сейчас отдам. Я ведь заходил к тебе, деньги забрал».

«Вот именно, поэтому я к тебе и пришел».

Витек встал, подошел к высокой стойке, порылся в коробке, стоявшей на ней, и извлек две ручки. Протянул мне:

«Держи. А что там был в твоей квартире за мужик, черноволосый, волосы как кепка? Вроде мудак или с.... Баба-то у тебя нормальная, а этот мне отхамил. Но я до него доберусь, гад буду! Доберусь и порежу на хрен!»

«Это сын нашего соседа, Эрнеста Яковлевича. Только учти: за ним крутые могут быть. Он племянник двух известных налетчиков, их убили менты во время войны».

«Ладно, мое дело. Их уже нет. А дядька, мой хозяин, выручит, если что. Ну, ты иди, не мешай, я тут с ребятами, как видишь».

В этот момент кто-то вошел в подсобку и тронул меня а плечо:

«Вован! Ты еще здесь? Меня твоя Кларина послала. А то она тебя потеряла: ушел минут на пятнадцать, а уже час не приходишь. И еще без плаща».

Я давно замечал, что в компании алкоголиков или вообще выпивающих мужиков время закатывается в никуда, часы проходят незаметно. Но кто за мной за-

шел? Я обернулся: за плечо меня держал мой дворовый знакомец Адик, в хорошем сером демисезонном дорогом пальто, расстегнутом на все пуговицы, под ним был серый дорогой костюм. Пахло от него каким-то заморским питьем. Я сделал вид, что пытаюсь по запаху определить, что они пили.

«Кубинский ром, ничего другого приличного в нашей гребаной столице не найдешь. А то Эрик пьет такое!.. Я с ним раньше тоже это пил, теперь — нет».

Он полуобнял меня за плечи и повел к выходу. Мы вышли на улицу, и неожиданно от странной смеси, висевшей в воздухе — снежной поземки, мелких луж с запахом мокрого асфальта, выхлопных газов, кубинского рома из нутра Адика, остатков мебельного лака, которым только что дышали, — меня замутило так, что я остановился. Адик понял, что мне не очень, взял под руку, повел к подъезду, заговаривая зубы, отвлекая глупостями от дурноты:

«А ты прежних наших девочек не навещаешь? Помнишь Таньку из домика рядом с нашим? Ты еще с ней дружил, а я трахал. Она уже замужем побывала, но разошлась. Танька тебя вспоминает, я ведь ее иногда по-прежнему потрахиваю. Эти лягушки-простушки очень привязчивы. Ведь лягушки давно уже не царевны».

«А ведь были царевнами», — сказал я тихо.

Адик потряс своим толстым жабьим задом и хихикнул:

«Помнишь анекдот? „Сиди и не квакай!“ — так иногда Иван-царевич напоминал жене о ее прошлом. Народ тоже не видит в лягушках царевен».

«Слушай, — вдруг остановился я, — лягушки лягушками, а куда ты тогда Сима отнес? Человек все же был. Его похоронили?»

«А пес его знает! Я трупешник к ментовке подложил и ушел. И никто потом не возникал. Закопали где-нибудь!»

Он недовольно нахмурился.

Мы подошли к моему подъезду. Там уже опять стояла аварийка. Канализационный люк был открыт, из машины в люк спускался брезентовый толстый рукав, слышалось чавканье отсасываемого дерма. Погода была промозглая. Меня снова замутило. А Адик неожиданно сказал:

«Не пойду я к Эрику, что-то устал от него. Танюшку вспомнил, заговорил о ней, и потянуло к ее мягким сисечкам. Хочешь, к тебе ее отправлю, ну не домой, понимаю, жена там, а у меня можете поваляться, она-то с охотой к тебе присосется. Пойдешь? Не сейчас, конечно. Через пару дней или когда решишься».

«Созвонимся», — неопределенным тоном сказал я.

Площадку перед домом, где стояли качели, покрыл снежок. В большой голубятне в углу двора сидели нахохлившиеся голуби. Голубятню в свое время, еще школьником, построил сосед с седьмого этажа, как раз под нашей квартирой. Он был двухметровый, тощий и всегда пьяный. Жил с маленькой женой, достававшей ему до подмышки, и толстой дочкой, ходили к нему алкаши. Один раз он заработал неясно как, но заработал деньги и купил легковушку, «Жигули». Даже остепенился на месяц. С гордой физиономией возил на машине жену и дочку. Потом он разбил машину и запил снова. Время от времени он таскался по квартирам, занимая деньги на опохмел. Вид был страшный, лицо преступника. А потом исчез, мы не знали куда, пока не приехал похоронный автобус. Как выяснилось, его убили монтировкой по пьяному делу. Все это произошло в течение нескольких месяцев с того момента, как мы туда переехали. Жизнь на краю могилы.

В подъезде запах дерма стал насыщенно густым. Я вошел в лифт. В лифте тоже пахло, довольно противно. Я вошел в квартиру, в прихожую. Из двери Эрнеста Яковлевича доносилось ворчание Эрика. Услышав хлопок входной двери, он вышел и,

глядя на меня исподлобья немигающими глазами, как дракон из сказки, протянул мне руку. Я пожал руку и пробормотал, что Адик ушел домой. Эрик отмахнулся и приблизил свое лицо к моему:

«Да срать я хотел на Адика. Срок-то проходит... Что с документами? Собрал?»

«А ты что делал? Я-то собирал и собрал, а ты хоть пальцем пошевелил?» — вдруг выкрикнул я зло.

Мы прошли в мою комнату (я не хотел тревожить Кларину). На улице пару раз громыхнул канализационный люк. Я продолжил:

«Все документы я отдал, в конце января будет ордер, так что в начале февраля сможешь въехать и начать обмен. Трехкомнатная тебе гарантирована: две однокомнатные стоят как раз трехкомнатной».

Он икнул. И потянулся обнять меня. Я похлопал его по спине.

«Сколько тебе это стоило?» — вдруг сообразил он.

«Это мое дело. Я это взял на себя, я это выполнил. А ты позови электрика и сними счетчики с каждой двери и поставь общий на всю квартиру».

«После ордера, — мрачно ответил Эрик. — Я не сумасшедший, чтобы что-то делать вперед. А после ордера и счетчики уберу, и в коридоре линолеум сниму, и пол отциклюю».

Он вышел, а я позвонил Инге и рассказал о своем визите к Лидии Андреевне.

«Хорошо, — сказала она, — все будет в порядке. Не сомневайся».

* * *

В январе, в конце двадцатых чисел, я, как мне и было сказано, набрал номер хозяйки мраморной лестницы. «Приходи завтра к трем», — почему-то тихо произнесла она. Но голос был приветливый. Хотя деньги я приготовил, но все время боялся облома. Русский человек настолько чувствует себя беспомощным перед начальством, что старается избегать по возможности общения с ним (если не приперло). Ну а те, кто лезут во власть, — о них говорить не буду. Эти уверены в своем праве делать с другими то, что они захотят, или то, что нужно. А мы как бы нежить... Вот ведь — не могу понять, как правильно употреблять это слово!

Короче, я поехал к нужному дому и к нужному часу. Я надел костюм, под пиджак свитер, куртка моя была не очень теплой, а снег уже всюду лежал как следует. Да и мело, видно было, как летал за окнами снег. Была странная погода, ветер, снег, но снег мокрый. Конверт с деньгами я положил во внутренний карман пиджака. Никогда еще в жизни я не держал в руках сразу такой суммы. Поэтому старательно делал вид, что просто фланирую по городу. Если честно, то я побаивался. Было начало девяностых, теперь эти годы называют «лихими». Но поскольку денег у нас не было, мы ничего не боялись. Только в этот раз я чувствовал себя как горе-бизнесмен, которого в любой момент могут прибить, а деньги отобрать. Да еще «контрольный поцелуй в лобик», как мы шутили по-дурацки. А вдруг хозяйка московских жилищ договорилась с какими-либо бандюками, чтобы получить деньги просто так, не давая товар. Но тут же подумал, что вряд ли. А то клиентов лишится.

Я перебежал шоссе в момент маленького просвета в движении. И как и прошлый раз, остался цел. Пробормотал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом», вошел в дом и поднялся быстро на второй этаж. Она меня уже ждала. Окно все так же было плотно зашторено. А глаза ее все так же светились каким-то красноватым светом, непонятно откуда идущим.

«Принес?»

Я кивнул. Она открыла ящик письменного стола. Мне показалось, что трехголовый змей с любопытством смотрит в ее ящик. А потом уставился на меня. Лидия Андреевна достала прозрачную папку, в которой лежал ордер.

«Посмотри сначала. Посмотрел? Покажи теперь, в чем принес. — я показал толстый конверт. — А теперь подойди к шкафу, открой дверцу верхней полки и положи туда».

«Пересчитывать не будете?»

Она приложила палец к губам:

«Тсс!.. Бери ордер и шагай. Только учти, что в квартире самозахват. Кто-то из РЭУ узнал про пустую квартиру и въехал. Но пусть твой сосед предъявит ордер, тот гад тут же испарится. Кажется, армянин из приезжих. Действуй».

Она скосила глаза на шкаф, в который я положил конверт. Но никакого движения в ту сторону не сделала. Мол, абсолютно доверяю.

Пораженный такой широтой души, я улыбнулся в ответ, как мог благодарнее, и вдруг заметил за ее спиной на стене картину, изображающую какую-то фольклорную женщину — не то русалку, не то духа дерева.

Правда, вспомнил тут же Пушкина:

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.

Но это все же была не русалка, но кто-то из древесных волшебниц. Волшебниц, которым подвластен весь низший мир.

«Это Навка», — пояснила хозяйка.

Чем-то неуловимо эта Навка напоминала хозяйку кабинета. Только в молодости. Хотя девушка из дерева, скорее всего, хапугой не была. Я растерянно вышел, спустился по мраморной лестнице мимо цапель, сел в трамвай и поехал домой, где молча, но с торжеством показал жене ордер.

Она тихо поцеловала меня в щеку. Кажется, мечты об отдельной квартире обрели вполне реальные черты.

«Эрик дома?» — спросил я Кларину.

Я не мог стереть с лица самодовольную улыбку. Все же мама зря за меня боялась. Когда я женился на Кларине и оставил семейную квартиру первой жене и сыну (родители уже давно переехали в кооператив, оставив мне квартиру, полученную еще дедом-профессором), тревожная мама говорила многожды, что я совершаю непростительную ошибку, что у нас в стране человек без своего жилья очень быстро становится никем, почти нежитью. А я выбрался из коммуналки! Сегодняшний ордер — это событие, подтверждающее мою правоту, что не побоялся уйти в никуда ради любимой женщины. Это вроде золотого ключика, который черепаха Тортилла дала Буратино.

«Эрика нет, — ответила жена. — Ты передохни, пойдем пообедаем, покормлю тебя. Мы с Сашкой уже поели. Прости, тебя не дождались. Но уж больно она капризничала, что есть хочет, все себя по пузу гладила и причитала, что животиночка у нее совсем пустая».

Я согласно кивнул, но вначале зашел в свой кабинет — спрятать ордер в стол. Подошел к стене, посмотрел на фотопортрет деда. И тут с горечью подумал, что фотографии родителей нет, что ее куда-то засунул младший брат, так фото и пропало. Я посмотрел мельком на деда, он вроде смотрел не хмуро, как всегда, взгляд про-

светлел и был ободряющ. И тут я услышал, как открывается входная дверь, и услышал голос Эрика. Я словно притягивал этого ведьмака.

САМОЗАХВАТ И ЕГО АВТОР

Эрик из коридора сразу прошел к Эрнесту — проведать отца. Я следом, зажав в руке ордер. И сказал в его тональности:

«Наливай! Вот ордер! Дальше твоя работа. Я свою выполнил с опережением графика. Ты все занят был, — съязвил я. — Но теперь уж будь любезен, действуй».

«А что делать?»

«Там какой-то самозахват квартиры. Говорят, мужик из РЭУ. Но у тебя реальный ордер, так что можешь самозахватчика гнать в шею. Сумеешь? — спросил я, вдруг засомневавшись. — Ты же крупный мужик».

Эрик вдруг преобразился, лицо его стало абсолютно бандитским, как бандитов изображают в кино. Он выдохнул:

«Да я ему горло вырву, пусть попробует остаться! Ты не сомневайся!»

Он налил три рюмки:

«За удачу! Все отец, скоро перевезу тебя на твою квартиру! А там посмотрим!»

«Чего смотреть-то? — сказал Эрнест Яковлевич. — Наконец поживу себе хозяином. До магазина дойти могу и сварить себе, что надо, тоже могу».

За окном вдруг повалили обильные мягкие снежинки. Совсем рождественские, хотя стоял уже конец января. Окно было приоткрыто. Сквозь окно были видны забелевшие крыши, пахло каким-то радостно-праздничным воздухом. Эрик выпил еще рюмку и, сжав мое плечо, словно пытался найти в этом пожатии поддержку, сказал:

«Ну я пошел!»

Последний жест вдруг выдал его неуверенность, что мне не понравилось. Но все же он пошел. Эрнест Яковлевич вдруг покачал головой:

«Это от своих дядьев научился на себя понт напускать. А так ничего не может, только нарывается, столько раз по морде получал. Зря ты его отправил. Лучше сам бы ходил. Надежнее было бы».

Но я решил, что и так набегался по этим делам достаточно. И самое главное сделал. А главное, празднично-рождественская погода за окном шептала о необходимости расслабиться и отдохнуть. И с Клариной и Сашкой давно время не проводил.

«Нет, — сказал я. — Пойду лучше с женой и дочкой на улицу. Погуляем».

Мы брели по бульвару, на который уже навалил тающий снег. Неожиданно потеплело, и на асфальте, под которым проходили подземные коммуникации, появились лужи. Сашка бежала впереди, загребая мокрый снег ботиками, иногда останавливалась, наклонялась, лепила снежок, кидала его в родителей и со смехом бежала дальше. Мы улыбались, счастливые и довольные. Больше Сашка не спросит: «Мама, где мы зиму-то зимовать будем?» И все будет хорошо. Бульвар шел за трамвайной линией, между линиями электропередач. Деревьев было немного, но они все же создавали ощущение бульвара. Кстати, квартира, на которую получил ордер Эрнест Яковлевич, находилась с той стороны бульвара. И вдруг оттуда появился Эрик. Огромный, нелепый, с опущенными к земле глазами, он вызвал у меня ощущение постигшей его неудачи. Хотя что могло быть? Все козыри на руках!..

Он подошел, стараясь не глядеть в глаза ни мне, ни Кларине.

Подошла Сашка:

«Ну, вы получили квартиру для дедушки Эрнеста? Ведь папа все бумаги собрал».

Откуда она знала это? Вроде при ней мы об этом не говорили... Но дети наблюдательны. Эрик пожал плечами.

«Там какой-то армяшка. Маленький, щуплый, но задорный. Я ему сказал, что у меня ордер на отца занять эту квартиру, чтоб он съезжал к такой-то матери!.. Он аж съежился. Съедет!..».

Но выглядел он не очень уверенно.

«Он что, ничего больше не сказал? Не может быть!»

«Ну сказал... Сказал, что будет консультироваться с кем-то...»

«С кем? И хоть как его зовут, ты узнал? Это важно».

«Не понял я ни хрена. Какой-то Мушегян, вроде Вагэ. Ты с ним сам разбирайся».

«Ты видел в квартире телефон?»

«Нет. Ни х... там нет!»

«Понятно, — сказал я мрачно. — Пойдемте домой, девочки».

* * *

Дальше начался неожиданно криминально-плутовской роман среди вони и болот.

В подъезде, как обычно, пахло текущей канализацией, вонь проникала на все этажи. В лифте запах был густым, и, сопровождаемые им, мы вошли в квартиру. На пороге нас встретил Эрнест Яковлевич, который взял меня за плечо:

«Погоди, тебе звонила какая-то женщина и плакала. Будет еще звонить».

«Хорошо, но мы сначала пальто снимем и переоденемся. А потом я к вам зайду, и вы расскажете, чего она хотела».

Через десять минут я уже сидел за столом Эрнеста. Он налил мне в большую чашку чаю, сам прихлебывая из своей.

«Она плакала, сморкалась, называла тебя Вовкой, говорила, что ты ее, наверно, не помнишь, что вы были соседями по двору в детстве. А потом вдруг захныкала, что звонит из кабинета лейтенанта милиции, что ее обвиняют в убийстве какого-то Адика, что ты его знаешь... Стой! А это не тот ли Адик, что сюда приходил?»

«Возможно, — напряженно ответил я, пытаюсь понять, что за соседка по двору. И при чем здесь Адик. И вдруг холод пошел по спине: я сообразил. Это же Танька, которую Адик назвал прошлый раз „лягушка-простушка“. И спросил: — А в каком она отделении милиции, не сказала?»

«Вроде что-то про улицу Костякова говорила».

Благородная женщина Кларина ни словом не возразила. Только спросила:

«Тебе это нужно?»

Я ответил почти цинично:

«Хочу кино до конца досмотреть».

И я уехал, нашел милицию, в отделении после несложных переговоров с представителями закона узнал, где они держат молодую женщину. С сержантом пухлолицым, с моргунчиком, который сидел у дверей КПЗ, то есть комнаты для заключенных, договорился быстро, дав ему несколько десятков. И вошел в комнату.

Там в углу на стуле сидела взлохмаченная, с бледным побитым лицом, мокрыми мутными глазами шатенка, платье на груди и подол были измяты, она вдруг с восторгом узнавания поглядела на меня. И зашептала:

«Как ты догадался, что это я тебе звонила? Это же я, Танька. Это моя любовь тебя нашла. Я тебя все эти годы любила. С самого детства. И замуж ходила, и Адик меня имел тогда, а я все о тебе думала. И сейчас, когда он меня заставлял, я ему давала, потому что он иногда о тебе рассказывал. Он говорил, что вы приятелями так и остались. Он мне и телефон твой дал. Сказал, что ты меня тоже помнишь. Гово-

рил, что если очень захочу, то могу тебе позвонить, и ты меня приласкаешь. А вчера разошелся, влил в меня стакан рома, знал, что под градусом я отзывчивее, и трахал меня прямо при брате моем Борисе разными способами, а Борис у меня лежит, разбитый от алкоголизма параличом, все видит и понимает, но ходить не может. Адик ему деньги каждый раз дает, чтоб не возникал. Борис меня жалеет, но поделаться ничего не может, — она говорила так откровенно такие жуткие подробности, что спина у меня заглодела. — Адик трахал меня и пил, пил и трахал, и под утро прямо у меня уснул. А с утра поволок меня в Тимирязевский парк, помнишь, там такой Олений пруд есть. Никогда не замерзающий. Вы там с Кириллом Тимофеевым головастиков ловили. Ты мне рассказывал, я помню. Так вот туда меня и потащил. Чего ему в голову взбрело, только там поняла».

А я вспомнил, как Адик со своим жабьим подрагивающим задом подучил других ребят со двора и пугал меня в лесу кровью в дупле, а они поддерживали и делали вид, что тоже пугаются.

«Чего?» — хрипло спросил я, живо вообразив Тимирязевский парк сейчас.

«Там люди были, а он заставил меня на колени встать и ему минет делать. А потом содрал с меня пальто, трусы и ботинки и затащил в пруд, там, где мелко, и все приговаривал, и все приговаривал: «Ну, лягушонка, сейчас тебя жабий король как следует отымеет. Мы, жабы, обычно в воде трахаемся». На колени прямо в воду раком поставил, сам в воду вошел, брюки снял, на берег бросил, попой к народу повернул и показывал всем, как он меня... да еще вслух комментировал, как он это делает, называя лягушкой. Заставил по-лягушачьи прыгать. Потом подтянул к пню на берегу, засунул мою голову между корнями, ляжки раздвинул и принялся собравшимся меня показывать и издеваться надо мной. Хоть озеро и не замерзает, но ноги мои в воде замерзли. Тогда — я не знаю, как это я сумела, — я вывернула руки назад, ухватила его за затылок и швырнула головой о пень. Потом встала, схватила его за его член, затащила его в воду, а там его голова попала под корягу, и он начал захлебываться. Я же не хотела его топить. Стала кричать и его из-под коряги тащить. А все надо мной смеются и не помогают. Он воду хлебает, кричать не может, а потом перестал дергаться, замер».

Она заплакала.

«Приехали „скорая“ и милиция. Его в простыню и увезли, а меня менты забрали».

Не зная, что сказать, я погладил ее по волосам.

«Я поговорю с лейтенантом. Тебя должны выпустить».

«Не сомневаюсь, лейтенант меня уже щупал, — она смотрела какими-то тоскливыми, опустошенными глазами. Глазами не проститутки, а женщины, попавшей в жизненный капкан. В капкан, который немного разжимался, когда она раздвигала ноги. — Ты не смотри на меня так. На самом деле я тебя всю жизнь хочу. Если не возражаешь, то можем сейчас, прямо здесь. Дай сержанту еще денег, он дверь посторожит».

«Не надо, — сказал я мягко, но тоном, который не допускал возражений. — Ты и так натерпелась».

«Не от тебя же».

«И все-таки. Хоть в твоём сознании, в твоей памяти я тоже существовал в эти твои плохие моменты, значит, виноват».

Она вдруг улыбнулась злой и жалкой улыбкой одновременно:

«Почему плохие? А может, мне это нравилось. Только я все время о тебе думала, поэтому они и не были плохими или — не совсем плохими. Я воображала, что это ты меня берешь».

Она вдруг схватила мою руку, прижала к губам, а потом к груди.

Должен покаяться, я не устоял. Видимо, и я давно ее хотел, а ее эротический, хотя и грязноватый рассказ возбудил меня. Разложив ее на полу, я вошел в нее. Это и вправду было чудесно, словно специально для меня приготовленный ужин. Мужчины все же в момент сексуального возбуждения забывают о всех нравственных нормах. И я был несколько не лучше остальных, а также хуже хороших.

Когда я встал, она лежала, закрыв глаза, и словно прислушивалась к своему телу, к его переживаниям. Потом улыбнулась, а я сказал глупо:

«Будто Адика помянули...»

«Конечно, помянули. А я теперь могу его забыть после тебя».

«Хорошо, — сказала я. — Я пойду, домой пора, а до этого мне в РЭУ надо заглянуть».

«Иди, — она села, одернула платье, чтобы прикрыть голые бедра и колени. — Все же мы полюбили друг друга. Полюбили и простились».

Я вышел, дал моргающему сержанту еще денег и покинул помещение. Мне было совсем не по себе. Повел себя на самом деле не лучше, чем Адик. Даже хуже. Ведь Кларину-то я и в самом деле люблю. Почему время от времени меня несет к чужим кискам? Причем значения я этим связям не придаю, поскольку любви нет. Так ее и у Адика не было. Я похолодел от ужаса и ненависти к себе. Все мы, живущие так, вне любви, просто-напросто нежить. Вот объяснение этого слова. Не кто-то другой, а ты сам. Ведь жизнь все же в любви, а не в сексе. Но стоит ли жить, если ты нежить? Вспомнил вдруг толстовского «Отца Сергия», который не устоял против похотливой девчонки. А потом трудом пытался загладить свою вину перед Богом. Такие туповатые мысли крутились у меня в голове по дороге к РЭУ.

И все же если не жизнь, то существование продолжалось. И за него надо было бороться. Поскольку тем самым устраивал жизнь жене и дочке. И снова маленькое открытие. Очевидно, у женщин есть какое-то свое особое чутье на мужчину. Особенно на мужчину, только что имевшего женщину. Он притягивает их и волнует. Это я вдруг почувствовал в РЭУ, где работали вроде бы одни женщины. Я спросил, могу ли я видеть Мушегяна. Мне ответили, что он взял отгул на три дня.

Я повернулся и пошел к выходу, пробормотав: «Жаль!»

«Мужчина! — вдруг окликнула меня милая кучерявая блондинка. — Подождите минуту. Может, вам телефон его нужен?»

«Люся! — крикнула ее товарка. — Ведь нельзя такое делать без разрешения».

«Но если человеку надо его найти!»

У меня вертелось на языке, что у Мушегяна нет телефона, но я благоразумно промолчал, ожидая номер. И я номер получил.

«Спасибо», — улыбнулся я ей ласкающе-смущенной улыбкой, которая, как я знал, нравится женщинам.

Надо было идти домой. Настроение было подавленное, как всегда бывало еще в прошлом браке, когда возвращался от другой женщины сексуально опустошенным. Было еще опасение, что жена поймет, что произошло, поскольку ощущал себя пропитанным этим чужим запахом. И старый отработанный прием — заговорить зубы. А рассказать на сей раз было что. И Адик, и телефон Мушегяна...

Так я и сделал, начав свою речь прямо в коридоре:

«Все-таки я не зря съездил. Ты помнишь Адика, он, конечно, был негодяй, но теперь он мертв. Эта женщина, что мне звонила, подруга моего детства, девочка с нашего двора. Он завел ее в лес, ну, в Тимирязевский парк, на берег Оленьего озера, там изнасиловал жестоко, а она его за это утопила. Точнее, не утопила, а толкнула его в озеро, где он зацепился за корягу и захлебнулся. А ее в милицию забрали».

«Прямо детектив какой-то. И ты, конечно, поверил! Это она все тебе успела рассказать в милиции? Долго рассказывала?..»

«Кларина, ты что, злишься или ревнуешь?»

«Нет, слушаю тебя. Ты должен как-то семье этого Адика помочь?»

Неожиданно на наши голоса, шаркая тапками, вышел из своей комнаты Эрнест Яковлевич и погрозил мне пальцем:

«Правильно, вначале надо Клариночке все рассказать. Ну и мне тоже, все же я тебе дал наводку на тую женщину».

«Да история не очень приятная. Вы же вспомнили сами этого Адика. Утоп он в озере в Тимирязевском парке».

«Ну ладно, — сказал спокойно старик, — знать, судьба ему была такая — в воде смерть принять».

И он спокойно вернулся в свою комнату.

Кларина сказала: «В этом возрасте такие известия можно только до галстука допускать. Но он прав, пойдём в твой кабинет. Там поговорим, а то шумим слишком. Сашка уже спит».

Эрнест, конечно, разрядил обстановку. Да и как-то так получилось, что все, что у меня случилось с Танькой, ушло в дальнюю область памяти. Было, но очень давно, не упомнишь. Сейчас главное — наша с Клариной и Сашкой квартира. Я сел за свой письменный стол, включил настольную лампу, зная, что Кларина все равно выключит верхний свет, она не любила ярких ламп. Кларина села на диван и спросила:

«А еще какие новости, кроме сексуальной смерти этого подонка Адика?»

«Почему подонка?»

«Потому. Ты и сам знаешь. Я его никогда не любила. Это ведь он тебя в Тимирязевском лесу кровью запугивал? Я твой рассказ помню. Помню, что думала, попадись он мне тогда, я бы его собственноручно прибила. Чего ты с ним опять стал общаться — не понимаю. Но зло рано или поздно получает свою плату — смерть».

«Ты жестокая женщина».

«Нет, справедливая. Я не еврейка, тем более не иудейка, но все же — око за око, это правильно, так и надо. Но что с нашей квартирой, с этим армянином? Или ты только своей подругой детства интересовался? Понимаю, ее обидели. Но, наверно, не случайно он именно ее стал на этом озерце насиловать! Ладно, ладно. Не красней. У тебя тоже рыло в пуху, ну не в этом случае, так в других. Но я тебя люблю, я твоя жена и не могу на тебя сердиться. Все равно ты мой. У нас семья. Я не хочу ее разрушить».

Я перевел дыхание, но не подал виду, что ждал неприятного разговора. И сразу перешел к телефону Мушегяна. Рассказал, что в РЭУ мне дали его телефон, но пока я не звонил, поскольку, как знаю, в квартире, которую он захватил, телефона нет. Пока не звонил, хочу-де зайти для начала в прокуратору, благо, что она на первом этаже нашего дома. Зайду завтра с утра.

ПЕРЕГОВОРЫ

И к десяти часам утра я уже был у дежурного, заместителя прокурора, который меня принял. Вспоминая сейчас этот разговор, не знаю, чему больше поражаться, своей ли неопытности или его цинизму. Заместитель сидел за столом, застеленным зеленым сукном, у него было хрящеватое лицо, а также совершенно явный паралич лицевого нерва, перекосивший его рот. Но плечи широкие, лицо чистое,

волосы каштановые и промытые, лежали прядями на голове. Глаза глядели добродушно, и я ему доверился. И рассказал, что мой сосед, бывший репрессированный, получил по новому закону право на отдельную жилплощадь и получил ордер на однокомнатную квартиру, но не может туда переехать, поскольку там живет мужик, samozaxватом взявший это жилье и не желающий съезжать.

«Это правда?» — улыбнулся заместитель половиной кривого рта.

«Ну разумеется».

«И кто это может доказать?»

«Ордер!» — ответил я торжествующе.

«Чтобы начать дело, — почти ласково сказал мне криворотый, — этого явно недостаточно. Должны быть бумаги не только от обвинителя, но и от ответчика. Пусть даст бумагу, что он незаконно проживает на этой жилплощади, и заверит свою подпись, ну хотя бы в РЭУ».

Я подумал, что это явная издевка. Но почему? Может, он чего-то не понял...

«Кто же в здравом уме сам на себя напишет донос?» — воскликнул я.

«Это не донос, а констатация факта. Мы должны это иметь. — возразил прокурорский работник. — Тогда дадим ход делу. А уж как вы достанете эту бумагу, это ваше дело».

«Но это же невозможно!»

«Раз невозможно, то и говорить не о чем. Будьте здоровы!»

Я вышел, изрядно униженный, чувствуя свою полную беспомощность. Поднялся на свой восьмой этаж. Жены и дочери дома не было. Эрнест Яковлевич, знавший, куда я ходил, вышел в коридор и вопросительно посмотрел на меня. Ему тоже было не сладко. Эрик, не сумев справиться с захватчиком Мушегяном, запил и к отцу не приходил. Меня ему больше упрекнуть было не в чем, а сам он ничего не умел делать, только пить да смотреть злобно. А отец его уже сложил вещи, комната была заставлена узлами и чемоданами. Только постель он не тронул. Надо же было где-то спать. А мы тем временем сняли электросчетчики у каждой двери, оставив только общий, сказав Эрнесту, чтобы он не волновался, что мы будем платить за все электричество.

Его вопросительный взгляд был поэтому понятен. Но вместо рассказа об унижительном визите я сказал, что возьму телефон к себе в комнату (он был на длинном шнуре), мол, надо позвонить. Я сел за стол, поставил рядом телефон, так чувствовал себя официальнее, и набрал номер Мушегяна. Я вспомнил полковника ФСБ на вечере у Инги и решил, что в это-то и надо сыграть. Трубку снял мужчина.

«Ваге Абгарович?» — официальным тоном спросил я.

«Нет. Это его сын, Гурген». Голос и вправду был молодой. Я сказал еще строже:

«Позовите, пожалуйста, отца, у нас к нему серьезный разговор. Его делом заинтересовалась ФСБ».

«Каким делом?» — с акцентом выкрикнул юноша. — Я ничего не знаю. За что его? Я сейчас сестру позову! Она здесь давно живет, а только приехал. Нарине!» — крикнул он.

Раздался женский голос:

«Здравствуйте, с кем я говорю? Я дочка Ваге Абгаровича! А вы кто?»

Я очень сухо ответил: «С вами говорит полковник ФСБ. Меня зовут Владислав Степанович. У нас есть вопросы к вашему отцу».

«Не поняла, — почти с визгом ответила она. — А у полковника есть фамилия?»

«Да, да, извините, не представился полностью, хотя надобности в этом особой не вижу. Но пожалуйста: Сырокомля Владислав Степанович. Но вернемся к вашему отцу».

«А что к нему возвращаться? Что он сделал плохого? Он очень хороший человек, чтоб вы знали!»

«Возможно, вы правы, но он занимает незаконно чужую квартиру. Как сотрудник РЭУ он узнал, что есть пустующая квартира, и преступно захватил ее. Тем временем ее получил по закону бывший заключенный ГУЛАГа. Мы виноваты перед этими людьми и теперь искупаем вину, стараемся решать их нужды».

Я сидел, чувствуя себя немного идиотом.

А она продолжала кричать:

«Вам бы лучше разобраться с тем, что творится в РЭУ! Там такие ужасные дела делаются. Их всех можно сразу в тюрьму! А мой отец в этом всем не замешан. Мамой клянусь! Вы бы разобрались как следует, прежде чем на невинного человека нападать!» — кричала она пронзительно.

Надо было продолжать игру в полковника, поэтому я выслушал молча, рассчитывая, что мое молчание заставит ее отвянуть. Она и вправду замолчала. Тогда я сказал очень спокойно:

«Меня не интересуют мелкие жулики. Это дело милиции, можете туда написать. У меня конкретная задача — защитить человека, перед которыми наши органы были виноваты. Передайте вашему отцу, чтобы он собирал вещи и покинул квартиру на Маломосковской. Скажите, что звонил полковник ФСБ Сырокомля».

Она шумно вздохнула:

«А вы не могли бы дать ваш телефон, чтобы отец мог с вами связаться?» — этого я категорически не хотел, не домашний же ей давать! И вообще надо быть осторожнее, чтобы они не смогли определить мой номер. И я ответил жестко:

«Мы своих телефонов не даем. Я все вам сказал».

Откинулся на спинку кресла и облегченно закурил. Хотя ничего не решилось.

Еще оставалась одна идея — милиция.

Но прежде надо было обзвонить друзей. Меня распирала ярость и желание как-то вырваться из заколдованного круга. А без друзей это не сделать. Я придумал, что мы придем к Мушегану — человек пять — как спецназ. И выкинем его к чертовой матери. Кого звать, кого можно назвать близким другом, что не испугается не очень законных действий? Все уже выросли, в казаки-разбойники давно не играют. И все же три-четыре имени я вспомнил: друг детства Сашка Косицын, архитектор и альпинист, крепкий и здоровый, мы с ним церкви обмеряли в Поветлужье; Женька Трофимов, одноклассник, давший нам с Клариной свою пустую однокомнатную квартиру, первое наше убежище; конечно, Коля Голуб, военный, полковник да еще и мидовец-китаист; Кирилл Тимофеев, который опекал меня в детстве, а теперь профессор на биофаке МГУ; ну и Эрик, как лицо заинтересованное. И я обзвонил всех, рассказав ситуацию. Все согласились, а Коля Голуб добавил, хмыкнув:

«Я в форме приду. Пуская дрожат».

Теперь — милиция. Туда я и отправился.

Лейтенант смотрел на меня подозрительно:

«Зачем вам наряд милиции?»

«Видите ли, в подведомственном вам районе произошло нечто вроде преступления — самозахват жилплощади. Ордер на квартиру получил заслуженный пенсионер, герой испанской войны, а въехать не может, потому что там незаконно живет другой человек».

Он посмотрел на меня напряженно и еще более подозрительно: «Что ты несешь! Какой еще испанской войны? Что-то я такой войны не знаю. Хватит мне лапшу на уши вешать! Ты думай, что болтаешь!»

Я почувствовал, что побледнел от злости:

«Во-первых, прошу мне не тыкать, во-вторых, историю нашей армии и нашей страны надо бы знать!»

Он вскочил:

«Ты сюда пришел — меня учить?! Я с тобой и разговаривать не буду! Иди, пока я тебя в обезьянник не посадил!»

Воздух загустил от ненависти. Он сел, раскрыл папку и сделал вид, что занят, а мне сказал грубо:

«Не видишь, что ли? Работаю я. Иди отсюда».

Я тоже вспыхнул.

«Тогда я сам с друзьями его выкину!»

Он сладко улыбнулся, переходя «на вы»:

«Тогда мы вас арестуем, поскольку вы нарушите неприкосновенность жилища. Это называется насильственным вторжением в чужую квартиру».

Я вышел, хлопнув дверью.

РЕШАЮЩИЙ ЗВОНОК И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ

Через несколько дней я поехал в Дом творчества Перedelкино (Перелыгино, как у Булгакова), хотелось спокойных пару недель для писания. Я совсем немногих знал, и это меня устраивало. Завтрак, обед, ужин, двухчасовая прогулка между писательских дач. И ни с кем не обсуждать свои проблемы. Поскольку ничего, кроме сплетен, из этого бы не получилось. Но поговорить бы стоило. Через пару дней я случайно услышал, что телефон на первом этаже между дверями имеет прямой выход в Москву. И на третий день я позвонил, будто звоню с Лубянки.

«Мне надо поговорить с гражданином Мушегяном Ваге Абгаровичем».

«Это я. Что вам от меня нужно?» — сказал несколько встревоженный голос.

Я ответил сухо:

«Думаю, ваша дочь передавала вам о моем звонке. С вами говорит полковник ФСБ Сырокомля Владислав Степанович. Вы захватили чужую жилплощадь. Теперь должны ее освободить. Иначе мы вас вообще из Москвы выселим».

Голос зазвучал еще тревожнее, даже с ноткой истерики:

«Я в Москве уже сорок семь лет! Кто может меня выселить?!»

Тут в моем голосе проснулись неожиданно совершенно ледяные интонации, какие, наверно, звучали в подвалах Лубянки:

«Вы, кажется, не очень понимаете. ФСБ может все».

Голос испугался:

«И что я должен делать?»

Ответ мой был по-военному четок:

«Сегодня среда, у вас три дня, чтобы собрать вещи и покинуть квартиру. В субботу она должна быть пуста. Если вы или ваши вещи останутся, то в субботу я пошлю спецназ, и он вас выкинет вместе с вещами. А я подготовлю бумаги о вашем выселении из Москвы. Понятно?»

«Понял», — пробормотал Мушегян.

Через день я вернулся домой, как раз раздался телефонный звонок ведьмы из жилотдела, Лидии Андреевны. Она начала со слов:

«Ну ты хват! Где полковника ФСБ надыбал? Мне тут Мушегян звонил, плакался, что ФСБ ему велела убираться из квартиры. Я сказала, что у соседа Эрнеста Даугула, то есть у тебя, важные покровители, чтобы он слушался и съезжал. Обещал. Ну ты хват! Прямо Змей Горыныч!»

Тут я вдруг понял, что она находилась в прямом контакте с этим *самозахватом*. Но что ж, у нее свой интерес. Я позвонил Инге. Она, надо сказать, обрадовалась:

«Ну вот видишь, все и разрешилось. Раз Лидия Андреевна сказала, что он съедет, значит, съедет. Так что в выходные можешь Эрнеста перевозить. И квартира твоя!»

Склочничать я не стал, не стал говорить о двойной игре жилотдела, сказал:

«Спасибо тебе, без тебя ничего бы не было».

«Какие дела! Мы же свои! Перевезешь, позвони, отметим!»

Я пошел к соседу, где среди разобранных досок шкафов, стопок книг, перевязанных веревками корзин с упакованной посудой, стояли стол, два стула, на одном сидел *волкодлак* Эрик, угрюмо глядя на меня. Эрнест Яковлевич лежал на диване. Эрик почти прорычал:

«Видишь, как отец живет! Почти в разрухе! Чего стоят твои слова! Типичный говнюк! Порезал бы тебя в прежние времена!»

Чувствуя усталость, но и решимость после победы, я взял его за плечо и так сжал, что он побелел от боли:

«Ты что несешь, скотина?! Заказывай машину на субботу! Квартира к субботе освободится. И можешь уже обмен искать — две однокомнатные на трехкомнатную. В трехкомнатной троим легче, чем тебе с женой в однокомнатной. И за отцом твоим присмотр будет. Жена-то присмотрит?»

«Куда она денется? А то брошу ее на ф...»

* * *

Короче, в субботу Эрик перевез отца в новую квартиру. Потом долго у нас не появлялся. Мы сделали ремонт в его комнате, поклеили обои, поставили книжные полки. Из редакции я забрал еще один spisанный письменный стол, огромный, тяжелый, три выдвижных ящика с каждой стороны. А старый отнес в комнату моей ясной Кларины. Я все ждал известия, что Эрнест и жена его сына поменялись, съехались и устраивают новоселье в трехкомнатной квартире. Но длилось молчание, а потом к нам вдруг стал заходить Эрнест Яковлевич, зайдет, пройдет в свою бывшую комнату, ныне мой кабинет, сядет на стул, сидит и молчит. На стене я повесил еще одно фото, победное, как дед с бабушкой, получив в Москве квартиру, поехали отдыхать: кажется, это был Форос, бабка тогда была в силе и при сильных мира сего. А потом она уехала в Испанию, чуть не погибла, деда посадили. Судьба пошла по нисходящей, но она удержалась, витальность была потрясающая, вот уж кого нежитью нельзя было назвать. Кусочек этой жизненности, похоже, она и мне передала.

Хотя и могла не понять советского быта и могла спросить у домработницы в ответ на ее слова, что муж ее нажрался, как свинья: «Зачем же он так много ест?» Бабушка стояла моего ученого деда, простодушно жила вне мира, куда вернулась. Да, она была другой зверек, не из этих джунглей.

Я тихо расспрашивал Эрнеста, когда они с Лидой, женой Эрика, будут съезжаться. Обычно он отмалчивался, мычал что-то не очень внятное, а в последний раз вдруг заговорил.

«Да не любит Эрик Лидку, — сумрачно ответил старик сосед, точнее, бывший сосед, — и никогда не любил. Женился на ней, она партийную должность какую-то занимала, квартиру сделала. Эрик ведь без жилья тогда был, его жилье, где он с матерью и дядями жил; после того, как их арестовали и постреляли, мать умерла, а квартиру опечатали и определили в собственность государства. Вот он и шатался по Москве, на заводе инженером работал, там в подсобке ночевал, иногда то у бу-

фетчицы харчился, то у уборщицы ночевал, у нее там комнатка была. А мужик он видный. Вот Лидка на него и клюнула».

«Да-а, — протянул я. — То есть делать общую трехкомнатную он не хочет? Понятно».

«Понятно? Вот так-то. Я-то сразу не понял. Поверил, что он обо мне старается. Ты не знаешь, а он совсем оборзел, водку жрет почем зря. Баб водит, одну за другой, к Лидке даже не заходит. Разыгрался, как молодой жеребец. И трахает их прямо в комнате, где я сплю. Я устаю от него. Помереть легче. Жалею, что уговорил вас искать мне квартиру, лучше бы я здесь оставался. Клариночка за мной ухаживала, а там я никому не нужен. Дожил бы здесь до смерти, и вы бы без труда эту комнату получили. А так я знаю, сколько ты сил и денег на эту квартиру потратил. А для кого?.. Не для себя, да и не для меня. Для бездельников этих, для моего алкаша и его б...й. Конечно, вы с Клариночкой теперь в отдельной живете. Это вам по заслугам, каждому по делам его. Не сердись за мои слова, ты же понимаешь, что сыну я отказать не мог. Теперь хоть уснуть и не проснуться, ничего другого не хочу».

«Да что вы, Эрнест Яковлевич! — возразил я, хотя понимал, что все так и ничего не поделаешь. — Чаю хотите? Я сейчас принесу чашки. Или на кухню пройдем? У нас хороший кекс есть. Пойдемте. Я чайник включу».

Я немного хвастался. У нас появился электрический чайник. Раньше мы кипятили воду для чая в чайнике, который стоял на газовой плите. Эрнест прошел следом за мной на кухню, но садиться не стал:

«Не хочу. Домой поплетусь. Хотя не знаю, смогу ли прилечь. Или Эрик очередную шлюшку на моей постели обрабатывает. Одна на его койке отдыхает, а другую он на моей постели имеет. Противно потом на эти простыни ложиться».

Он повернулся и двинулся к входной двери.

«Я вас провожу немножко. Не возражаете?».

Он молча кивнул. Мы вышли, дошли до шоссе. Он махнул рукой:

«Ты иди к себе. Сам дойду».

* * *

Через месяц он умер. Эрик был пьян и не позвонил, поэтому на похороны мы не попали. Но о девятом дне сообщил и позвал. и вот на девятый день смерти Эрнеста Яковлевича мы пришли в его однокомнатную квартиру. Мы с Клариной зашли не больше чем на часок. Гостей не было. Только бывшая подруга отца, то есть Эрнеста Яковлевича, по имени Светка. Эрик в синей нижней рубашке, небритый, в помочах (в подтяжках) сидит на неубранной постели. Дверь нам открыла Тонька, подзаборная любовница Эрика, с которой он при отце трахался, чем и довел его до смерти. Она тоже в затрапезе, очевидно, что без бюстгальтера, волосенки жидкие, коротко стриженные, глаза ласково-фальшивые, как у приبلудной суки (хотя у собаки благодарность еще в глазах), платье замусоленное, коричневое, видно, что тело толстое, старое и потасканное. Ее мы уже как-то видели, с Эриком к отцу приходила. Тогда я и не понял, кто она. Она присела рядом с Эриком, обняла его за плечи, прижавшись грудью к его плечу. Очень не аппетитно. Вдруг вошло нечто новое, молодая гладкая сучка. Тоже коричневое платье. Эрик приветствовал ее взмахом руки, указав на постель рядом с собой. Тонька посмотрела на нее царапающим взглядом, но молчала. На столе две бутылки, одна почти пустая. Эрик подвинул к себе рюмки, начал разливать. Он обращался к нам, притулившимся пока в углу, громко:

«Молодцы, что пришли. Раздевайтесь, садитесь. Давай выпьем. Отца помянем. Он справный был раньше. Фото? Покажу. Это я сам снимал. Сегодня Тонькин муж приходил. Собаку привел. И сел здесь. Сидит и не уходит. Я с ним драться не могу, позвал Мишку-соседа, он его за шкирман и выкинул».

Тонька (плаксиво):

«А когда домой шел, его еще трое побили. Так он теперь на нас жалуется. А нам на что!»

Она гордо смотрел на молодую шалаву, та молчала, глядя в скатерть. Эрик, как турецкий шах или петух, не реагировал на молчаливую борьбу любовниц, но сказал Тоньке:

«Замолчи! Тебя не спрашивают. Я не хотел просто, чтоб он здесь сидел. Я имею право сам по себе выпить? Имею. Моего отца поминают все же. Лидка не пришла отца проводить. А я с ней двадцать лет прожил. Мне обидно».

Да, вспомнил я, ведь Лидка — это его последняя жена, которую он тут же оставил, как только я выбил для отца однокомнатную квартиру, и Эрик к отцу переселился, чтоб на свободе пить и гулять.

Тонька выкрикнула:

«А ты бы не женился на партийной проститутке! Она тебя от жены и сына увела, хорошую квартиру обещала, а сама только по партийным постелям шастала да и тебя только в постели использовала».

Бывшая подруга Эрнеста Яковлевича, выпивая рюмку, усмехнулась:

«Вот так и лаются все время. А я племянницу замуж выдала».

Эрик с хамской ухмылкой: «Сдача п... в эксплуатацию, как мы, инженеры, говорим. Муж раскупорит, потом и мы попользуемся! Ха-ха!»

Подруга хлопнула его по губам: «Вот поганый язык. Так бы и отрезала!»

Эрик в ответ ухмыляется длинной усмешкой: «А забыла, как мы вместе на ка-ток ходили и я тебя щупал, а сколько раз ты со мной спала, пока после смерти матери к отцу в койку не залезла».

Бывшая подруга Эрнеста, нервно: «Замолчи ты, козел!»

Эрик: «Что было, то было! Да я и с молодой доцентом-бабой, в институте преподавала, трахался, не чета вам. Чистая была такая. Галеной звали, даже кандидат наук. Своему профессору не давала, а мне — пожалуйста. И вроде мужик ничего, издаля его видел. Я думаю, бабам, что погрязнее, хочется. Да ты, Владимир, нормальный, не чистый и не грязный, нормальный, тебя многие хотят. Вон все наши шалавы, только мигни им...»

Мне стало тоскливо.

«А хочешь, и тебе даст, я ее заинтересовал, что есть богатый профессор с трехкомнатной квартирой, а с женой почти в разводе. Договоримся — зайдет. Хочет свою ракушку, все бабы слизистые, как улитки, поэтому и раковины ищут. Как скажешь!»

Тонька тем временем читала молодой шалаве мораль:

«Ты что же за моего мужика ухватила? У него жена есть, о себе уж умолчу».

«Ну и молчи, что ему со старой дыркой возиться?»

«А ты сколько хренов наменяла?»

«Сколько-нисколько! Все мои!»

«Хрен на хрен менять — только время терять».

Это был ужас! Их много, это большинство!

Воистину прямо по Босху, подумал я: «Сад земных наслаждений». Жить не хочется! Кларина твердо взяла меня за руку и повела к двери. Мы почти бежали.

Эрика через полгода убили в пьяной драке.

Говорили, что убил мужик из мебельного, вроде бы Витек. Убийца тут же, как говорили, уехал в Калугу у своему дядьке, тамошнему пахану.

* * *

Я лежал в гробу, но при этом понимал, что я не мертвый, хотя и не живой. Никакого света и никакого покоя, похоже, я не заслужил. Во всяком случае никто туда (в свет или покой) меня не влек и даже не звал. Я переживал тот смертный сон, которого боялся Гамлет, и странные, страшные, безобразные сновидения копошились в моем мозгу. Я почему-то пошел на похороны Эрика. Выпил, тяжело было на душе. Жизнь казалась диким сном. Потом, пошатываясь, двинулся домой. Это я помнил. Недавние дождевые лужи, прыгающие по ним лягушки, и жабы, и еще какие-то чудища.

Испугавшись, я отпрянул, затем падение, удар головой о рельс, двухчасовое лежание на асфальте под дождем (кто-то все же отодвинул мою голову в сторону от рельса), потом приезд неотложки, грубые руки, заталкивавшие меня в салон санитарной машины, лежание в голом виде на столе в реанимации, врачи, что-то совавшие в мою рану на голове, переставший показывать работу сердца монитор, потому что прекратилась эта самая работа.

Это я помнил и понимал, что тогда-то и наступил этот странный конец моего активного существования на Земле. Впереди, я это знал, меня ждала бесконечность времени, и это было страшно представить. Страшно было и то, что я отчетливо сознавал, как такие же безобразные сновидения будут преследовать меня бесконечно. Ужас перед этой бесконечностью сковывал все возможные движения мысли. И ведь самое пугающее было то, что эти сновидения как бы цепляли факты моей реальной жизни, но так дополняли и переиначивали их, что я сам впадал в шок. Возможно, то, что мелькало в мое голове как возможность, сон превращал в реальность, фантастическую, но реальность. Мыслимо ли заниматься сексом в милицейской КПЗ? Но шальная мысль об этом, скорее всего, тогда, в жизни, пока я был жив, проскочила в голове, а посмертный сон подал этот секс как то, что было в реальности. Сны менялись, поражая своей правдоподобностью, своим диким реализмом, даже натурализмом. И я не мог остановить их. А впереди были столетия этого бреда, а то и тысячелетия, а то и миллиарды лет. Если, конечно, правда, что существует другое или другие измерения, где существуют разные сознания и души, и даже такое неполноценное сознание, как у меня.

Вдруг я увидел, что к Земле летит страшная планета X, которая должна уничтожить все живое на моей планете, а я единственный, кто может спасти свой дом, свою планету, и вот я оказываюсь на этой планете X, а планетой правит Лидия Андреевна, так что с ней надо либо договориться, либо лишить ее управления этим летящим космическим снарядом. И вот я звоню по космическому телефону Инге, а она мне что-то советует, но я ее не слушаю, потому что вижу Кларину и Сашку, примостившихся на краю Земли, и задача моя одна — провести планету X так, чтобы она их не задела. Ведь Любовь все же движет Солнце и светила. А уж тем более планеты!.. Но сделать резкий крюк планетой в сторону мне не удастся, и тут я понимаю, что есть только один шанс — повиснуть, ухватившись руками за край планеты X, а ногами оттолкнуться от Земли. Что я и сделал. Толчок был столь силен, что я сорвался и очутился в космическом пространстве, вокруг меня носился мусор разбитых комет, астероидов и обломки, крошево планет. Была вокруг косми-

ческая ночь, синевато светилась Земля, от которой меня унесло. Я (вот бред-то!) искал жилище Бога, ведь раз есть **планета-дьявол X**, то и святое что-то должно быть. А потому и проект «Россия», пока в ней не исчез дух, должен продолжаться. Может, мне не дано увидеть Место Высшего Блага (то, что в старину великий Августин Блаженный называл Град Божий), наверно, не заслужил. Но туда точно нет пути большинству. Это дорога для одиночек. Дед Моисей недаром ориентировал себя на слепца-одиночку Тиресия. Да и сам пророк Моисей пошел один против своего племени, наперекор, пока убедил в своей правоте. Один поднимался на гору Синай, с толпой Бог не хотел говорить. Разум не может быть коллективным.

Заслужить прощение и доступ в этот Град я мог лишь одним способом — написать не одну, а две, три, четыре книги с высшей точки зрения. Но руки зажаты деревянной коробкой, пальцы окостенели, даже непонятно, сумеют ли они хотя бы по клавишам компьютера стучать. А над могилой причитала Кларина, ее слова впитывала не умершая еще часть моего Я. Она говорила сквозь слезы, точнее, всхлипывала:

«Милый, ты же не мог жить без писания. Ну и живи дальше. И пиши. Ищи свой смысл. Ведь ты сам говорил, что жизнь словом продолжается. Вот и продолжай ее. Мы с тобой будем, будем помогать, насколько сможем».

И тут я вспомнил слова деда: «Человек, живущий духом, не может умереть до конца». Что он имел в виду, сейчас было неважно. Но я почувствовал, что сердце вдруг забилось, плечи распрямились, и ящик затрещал, я попытался сесть — и сел, сбрасывая с себя комья земли. Увидел побледневшее от счастья лицо Кларины, высушенные глаза Сашки — и встал. А вечером я уже сидел в своем кабинете, горел экран компьютера, рядом стояла чашка чая, и я стучал по клавишам.